

Текст приводится по изданию:

Марк Туллий Цицерон. РЕЧИ В ДВУХ ТОМАХ. Том первый (81-63 гг. до н.э.). Издание подготовили В. О. Горенштейн, М.Е. Грабарь-Пассек. Издательство Академии Наук СССР. Москва 1962.

Перевод В. О. Горенштейна

МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН

ПЕРВАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ

[В сенате, 2 сентября 44 г.]



(I, 1) Прежде чем говорить перед вами, отцы-сенаторы, о положении государства так, как, по моему мнению, требуют нынешние обстоятельства, я вкратце изложу вам причины, побудившие меня сначала уехать, а потом возвратиться обратно. Да, пока я надеялся, что государство, наконец, снова поручено вашей мудрости и авторитету¹, я как консуляр и сенатор считал нужным оставаться как бы стражем его. И я действительно не отходил от государства, не спускал с него глаз, начиная с того дня, когда нас созвали в храм Земли². В этом храме я, насколько это было в моих силах, заложил основы мира и обновил древний пример афинян; я даже воспользовался греческим словом, каким некогда при прекращении раздоров воспользовалось их государство³, и предложил уничтожить всякое воспоминание о раздорах, навеки предав их забвению. (2) Прекрасной была тогда речь Марка Антония, превосходны были и его намерения; словом, благодаря ему и его детям заключение мира с виднейшими гражданами было подтверждено⁴.

Этому началу соответствовало и все дальнейшее. К происходившему у него в доме обсуждению вопроса о положении государства он привлекал наших первых граждан; этим людям он поручал наилучшие начинания; в то время в записях Цезаря находили только то, что было известно всем; на все вопросы Марк Антоний отвечал вполне твердо⁵. (3) Был ли возвращен кто-либо из изгнанников? "Только один⁶", — сказал он, — а кроме него, никто". Были ли кому-либо предоставлены какие-нибудь льготы? "Никаких", — отвечал он. Он даже хотел, чтобы мы одобрили предложение Сервия Сульпиция, прославленного мужа, о полном запрещении после мартовских ид водружать доски с каким бы то ни было указом Цезаря или с сообщением о какой-либо его милости. Обхожу молчанием многие достойные поступки

Марка Антония; ибо речь моя спешит к его исключительному деянию: диктатуру, уже превратившуюся в царскую власть, он с корнем вырвал из государства. Этому вопросу мы даже не обсуждали. Он принес с собой уже написанное постановление сената, какого он хотел; после прочтения его мы в едином порыве приняли его предложение и в самых лестных выражениях в постановлении сената выразили ему благодарность.

(II, 4) Казалось, какой-то луч света засиял перед нами после уничтожения, уже не говорю — царской власти, которую мы претерпели, нет, даже страха перед царской властью; казалось, Марк Антоний дал государству великий залог того, что он хочет свободы для граждан, коль скоро само звание диктатора, не раз в прежние времена бывавшее законным, он, ввиду свежих воспоминаний о диктатуре постоянной, полностью упразднил в государстве⁷. (5) Через несколько дней сенат был избавлен от угрозы резни; крюк⁸ вонзился в тело беглого раба, присвоившего себе имя Мария⁹. И все это Антоний совершил сообща со своим коллегой; другие действия Долабелла совершил уже один; но если бы его коллега находился в Риме, то действия эти они, наверное, предприняли бы вместе. Когда же по Риму стало распознаться зло, не знавшее границ, и изо дня в день распространяться все шире и шире, а памятник на форуме¹⁰ воздвигли те же люди, которые некогда совершили то пресловутое погребение без погребения¹¹, и когда пропащие люди вместе с такими же рабами с каждым днем все сильнее и сильнее стали угрожать домам и храмам Рима, Долабелла покарал дерзких и преступных рабов, а также негодяев и нечестивцев из числа свободных людей так строго, а ту проклятую колонну разрушил так быстро, что мне непонятно, почему же его дальнейшие действия так сильно отличались от его поведения в тот единственный день.

(6) Но вот в июньские календы, когда нам велели присутствовать в сенате, все изменилось; ни одной меры, принятой при посредстве сената; многие и притом важные — при посредстве народа, а порой даже в отсутствие народа или вопреки его воле. Избранные консулы¹² утверждали, что не решаются явиться в сенат; освободители отечества¹³ не могли находиться в том городе, с чьей выи они сбросили ярмо рабства; однако сами консулы в своих речах на народных сходках и во всех своих высказываниях их прославляли. Ветеранов — тех, которых так называли и которым наше сословие торжественно дало заверения, — подстрекали не беречь то, чем они уже владели, а рассчитывать на новую военную добычу. Предпочитая слышать об этом, а не видеть это и как легат¹⁴ будучи свободен в своих поступках, я и уехал с тем, чтобы вернуться к январским календам, когда, как мне казалось, должны были начаться собрания сената.

(III, 7) Я изложил вам, отцы-сенаторы, причины, побудившие меня уехать; теперь причины своего возвращения, которому так удивляются, я вкратце вам изложу.

Отказавшись — и не без оснований¹⁵ — от поездки через Брундисий, по обычному пути в Грецию, в секстильские календы приехал я в Сиракузы, так как путь в Грецию через этот город мне хвалили; но город этот, связанный со мной теснейшим образом, несмотря на все желание его жителей, не смог задержать меня у себя больше, чем на одну ночь. Я боялся, что мой неожиданный приезд к друзьям вызовет некоторое подозрение, если я промедлю. Но после того как ветры отнесли меня от Сицилии к Левкопетре, мысу в Регийской области, я сел там на корабль, чтобы пересечь море, но, отплыв недалеко, был отброшен австром¹⁶ назад к тому месту, где я сел на корабль. (8) Когда я, ввиду позднего времени, остановился в усадьбе Публия Валерия, своего спутника и друга, и находился там и на другой день в ожидании попутного ветра, ко мне явилось множество жителей муниципия Регия; кое-кто из них недавно побывал в Риме. От них я прежде всего узнал о речи, произнесенной Марком Антонием на народной сходке; она так понравилась мне, что я, прочитав ее, впервые стал подумывать о возвращении. А немного спустя мне принесли эдикт Брута и Кассия¹⁷; вот он и показался, по крайней мере, мне — пожалуй, оттого, что моя приязнь к ним вызвана скорее заботами о благе

государства, чем личной дружбой, — преисполненным справедливости. Кроме того, приходившие ко мне говорили, — а ведь те, кто желает принести добрую весть, в большинстве случаев прибавляют какую-нибудь выдумку, чтобы сделать принесенные ими вести более радостными, — что будет достигнуто соглашение, что в календы сенат соберется в полном составе, что Антоний, отвергнув дурных советчиков, отказавшись от провинций Галлий¹⁸, снова признает над собой авторитет сената.

(IV, 9) Тогда я поистине загорелся таким сильным стремлением возвратиться, что мне было мало всех весел и всех ветров — не потому, что я думал, что не примчусь вовремя, но потому, что я боялся выразить государству свою радость позже, чем желал это сделать. И вот я, быстро доехав до Велии, увиделся с Брутом; сколь печально было это свидание для меня, говорить не стану¹⁹. Мне самому казалось позорным, что я решаюсь возвратиться в тот город, из которого Брут уезжал, и хочу в безопасности находиться там, где он оставаться не может. Однако я вовсе не видел, чтобы он был взволнован так же сильно, как я; ибо он, гордый в сознании своего величайшего и прекраснейшего поступка²⁰, ничуть не сетовал на свою судьбу, но сокрушался о вашей. (10) От него я впервые узнал, какую речь в секстильские календы произнес в сенате Луций Писон²¹. Хотя те, кто должен был его поддержать, его поддержали слабо (именно это я узнал от Брута), все же — и по свидетельству Брута (а что может быть более важным, чем его слова?) и по утверждению всех тех, с кем я встретился впоследствии, — Писон, как мне показалось, снискал большую славу. И вот, желая оказать ему содействие, — ведь присутствовавшие ему содействия не оказали — я и поспешил сюда не с тем, чтобы принести пользу (на это я не надеялся и поручиться за это не мог), но дабы я, если со мной как с человеком что-нибудь случится (ведь мне, по-видимому, грозит многое, помимо естественного хода вещей и даже помимо ниспосылаемого роком), выступив ныне с этой речью, все же оставил государству доказательство своей неизменной преданности ему²².

(11) Так как вы, отцы-сенаторы, несомненно, признали справедливыми основания для обоих моих решений, то я, прежде чем говорить о положении государства, в немногих словах посетую на вчерашний несправедливый поступок Марка Антония; ведь я ему друг и всегда открыто заявлял, что я ввиду известной услуги, оказанной им мне, таковым и должен быть²³.

(V) По какой же причине вчера в таких грубых выражениях требовали моего прихода в сенат? Разве я один отсутствовал? Или вы не бывали часто в неполном сборе? Или обсуждалось такое важное дело, что даже заболевших надо было нести в сенат? Ганнибал, видимо, стоял у ворот²⁴ или же о мире с Пирром²⁵ шло дело? Для решения этого вопроса, по преданию, принесли в сенат даже знаменитого Аппия, слепого старца. (12) Докладывали о молебствиях²⁶; в этих случаях сенаторы, правда, обычно присутствуют; ибо их к этому принуждает не данный ими залог²⁷, а благодарность тем, о чьих почестях идет речь; то же самое бывает, когда докладывают о триумфе. Поэтому консулов это не слишком беспокоит, так что сенатор, можно сказать, волен не являться. Так как этот обычай был мне известен и так как я был утомлен после поездки и мне нездоровилось, то я, ввиду дружеских отношений с Антонием, известил его об этом. А он заявил в вашем присутствии, что он сам явится ко мне в дом с рабочими²⁸. Это было сказано поистине чересчур гневно и весьма несдержанно. Действительно, за какое преступление положено такое большое наказание, чтобы он осмелился сказать в присутствии представителей нашего сословия, что он велит государственным рабочим разрушить дом, построенный по решению сената на государственный счет? И кто когда-либо принуждал сенатора к явке, угрожая ему таким разорением; другими словами, разве есть какие-нибудь меры воздействия, кроме залога или пени? Но если бы Антоний знал, какое предложение я собирался внести, он, уж наверное, несколько смягчил бы суровость своих принудительных мер.

(VI, 13) Или вы, отцы-сенаторы, думаете, что я стал бы голосовать за то, с чем нехотя согласились вы, — чтобы паренталии²⁹ превратились в молебствия, чтобы в государстве были введены не поддающиеся искуплению кощунственные обряды — молебствия умершему? Кому именно, не говорю. Допустим, дело шло бы о Бруте³⁰, который и сам избавил государство от царской власти и свой род продолжил чуть ли не на пятьсот лет, чтобы в нем было проявлено такое же мужество и было совершено подобное же деяние; даже и тогда меня не могли бы заставить причислить какого бы то ни было человека, после его смерти, к бессмертным богам — с тем, чтобы тому, кто где-то похоронен и на чьей могиле справляются паренталии, совершались молебствия от имени государства. Я, безусловно, высказал бы такое мнение, чтобы в случае, если бы в государстве произошло какое-нибудь тяжкое событие — война, мор, голод (а это отчасти уже налицо, отчасти, боюсь я, нам угрожает), я мог с легкостью оправдаться перед римским народом. Но да простят это бессмертные боги и римскому народу, который этого не одобряет, и нашему сословию, которое постановило это нехотя.

(14) Далее, дозволено ли мне говорить об остальных бедствиях государства? Мне поистине дозволено и всегда будет дозволено хранить достоинство и презирать смерть. Только бы у меня была возможность приходить сюда, а от опасности, связанной с произнесением речи, я не уклоняюсь. О, если бы я, отцы-сенаторы, мог присутствовать здесь в секстильские календы — не потому, что это могло принести хотя бы какую-нибудь пользу, но для того, чтобы нашелся не один-единственный консуляр, — как тогда произошло, — достойный этого почетного звания, достойный государства! Именно это обстоятельство причиняет мне сильнейшую скорбь: люди, которые от римского народа стяжали величайшие милости, не поддержали Луция Писона, внесшего наилучшее предложение. Для того ли римский народ избирал нас в консулы, чтобы мы, достигнув наивысшей степени достоинства, благо государства не ставили ни во что? Не говорю уже — своей речью, даже выражением лица ни один консуляр не поддержал Луция Писона (15) О, горе! Что означает это добровольное рабство? Допустим, что в некоторой степени оно было неизбежным; лично я не требую, чтобы поддержку Писону оказали все те, кто имеет право голосовать как консуляр. В одном положении находятся те, кому я их молчание прощаю, в другом — те, чей голос я хочу слышать. Меня огорчает, что именно они и вызывают у римского народа подозрение не только в трусости, которая позорна сама по себе, но также и в том, что один по одной, другой по иной причине изменяют своему достоинству³¹.

(VII) И прежде всего я выражаю Писону благодарность и глубоко чувствую ее: он подумал не о том, что его выступление принесет государству, а о том, как сам он должен поступить. Затем я прошу вас, отцы-сенаторы, даже если вы не решитесь принять мое предложение и совет, все же, подобно тому как вы поступали доныне, благосклонно меня выслушать.

(16) Итак, я предлагаю сохранить в силе распоряжения Цезаря не потому, чтобы я одобрял их (в самом деле, кто может их одобрить?), но так как выше всего ставлю мир и спокойствие. Я хотел бы, чтобы Марк Антоний присутствовал здесь, но только без своих заступников³². Впрочем, ему, конечно, разрешается и заболеть, чего он вчера не позволил мне. Он объяснил бы мне или, лучше, вам, отцы-сенаторы, каким способом сам он отстаивает распоряжения Цезаря³³. Или распоряжения Цезаря, содержащиеся в заметочках, в собственноручных письмах и в личных записях, предъявленных при одном поручителе в лице Марка Антония и даже не предъявленных, а только упомянутых, будут незыблемы? А то, что Цезарь вырезал на меди, на которой он хотел закрепить постановления народа и постоянно действующие законы, никакого значения иметь не будет³⁴? (17) Я полагаю, что распоряжения Цезаря — это не что иное, как законы Цезаря. А если он что-нибудь кому-либо и обещал, то неужели будет незыблемо то, чего он сам выполнить не мог? Правда, Цезарь многим многое обещал и многих

своих обещаний не выполнил, а после его смерти этих обещаний оказалось даже гораздо больше, чем тех милостей, которые он предоставил и даровал за всю свою жизнь.

Но даже этого я не изменяю, не оспариваю. С величайшей настойчивостью защищаю я его великолепные распоряжения. Только бы уцелели в храме Опс³⁵ деньги, правда, обогранные кровью, но при нынешних обстоятельствах — коль скоро их не возвращают тем, кому они принадлежат, — необходимые. Впрочем, пусть будут растрочены и они, если так гласили распоряжения. (18) Однако, в прямом смысле слова, что, кроме закона, можно назвать распоряжением человека, облеченного в тогу и обладавшего в государстве властью и империем³⁶? Осведомись о распоряжениях Гракха — тебе представят Семпрониевы законы, о распоряжениях Суллы — Корнелиевы. А в чем выразились распоряжения Помпея во время его третьего консульства³⁷? Разумеется, в его законах. И если бы ты спросил самого Цезаря, что именно совершил он в Риме, нося тогу, он ответил бы, что законов он провел много и притом прекрасных; что же до его собственноручных писем, то он либо изменил бы их содержание, либо не стал бы их выпускать, либо, даже если бы и выпустил, не отнес бы их к числу своих распоряжений. Но и в этом вопросе я готов уступить; кое на что я даже закрываю глаза; что же касается важнейших вопросов, то есть законов, то отмену этих распоряжений Цезаря я считаю недопустимой.

(VIII, 19) Есть ли лучший и более полезный закон, чем тот, который ограничивает управление преторскими провинциями годичным сроком, а управление консульскими — двухгодичным³⁸? Ведь его издания — даже при самом благополучном положении государства — требовали чаще, чем любого другого. Неужели после отмены этого закона распоряжения Цезаря, по вашему мнению, могут быть сохранены в силе? Далее, разве законом, который объявлен насчет третьей декурии, не отменяются все законы Цезаря о судеустройстве³⁹? И вы⁴⁰ распоряжения Цезаря отстаиваете, а законы его уничтожаете? Это возможно разве только в том случае, если все то, что он для памяти внес в свои личные записи, будет отнесено к его распоряжениям и — хотя бы это и было несправедливо, и бесполезно — найдет защиту, а то, что он внес на рассмотрение народа во время центуриатских комиций, к распоряжениям Цезаря отнесено не будет. (20) Но какую это третью декурию имеют в виду? "Декурию центурионов", — говорят нам. Как? Разве участие в суде не было доступно этому сословию в силу Юлиева, а ранее также и в силу Помпеева и Аврелиева законов⁴¹? "Устанавливался ценз", — говорят нам. Да, устанавливался и притом не только для центуриона, но и для римского всадника. Именно поэтому судом и ведают и ведали наиболее храбрые и наиболее уважаемые мужи из тех, кто начальствовал в войсках. "Я не стану разыскивать, — говорит Антоний, — тех, кого подразумеваешь ты; всякий, кто начальствовал в войсках, пусть и будет судьей". Но если бы вы предложили, чтобы судьей был всякий, кто служил в коннице, — а это более почетно, — то вы не встретили бы одобрения ни у кого; ибо при выборе судьи надо принимать во внимание и его достаток, и его почетное положение. "Ничего этого мне не нужно, — говорит он, — я включу в число судей также и рядовых солдат из легиона "жаворонков"⁴², ведь наши сторонники утверждают, что иначе им не уцелеть". Какой оскорбительный почет для тех, кого вы неожиданно для них самих привлекаете к участию в суде! Ведь смысл закона именно в том, чтобы в третьей декурии судьями были люди, которые бы не осмеливались выносить приговор независимо. Бессмертные боги! Как велико заблуждение тех, кто придумал этот закон! Ибо, чем более приниженным будет казаться человек, тем охотнее будет он смывать свое унижение суровостью своих приговоров и он будет напрягать все силы, чтобы показаться достойным декурий, пользующихся почетом, а не быть по справедливости зачисленным в презираемую.

(IX, 21) Второй из объявленных законов предоставляет людям, осужденным за насильственные действия и за оскорбление величества, право провокации к народу, если они этого захотят⁴³. Что же это, наконец: закон или отмена всех законов? И право, для кого ныне

важно, чтобы этот твой закон был в силе? Нет человека, который бы обвинялся на основании этих законов; нет человека, который, по нашему мнению, будет обвинен. Ведь за вооруженные выступления, конечно, никогда не станут привлекать к суду. "Но предложение угодно народу". О, если бы вы действительно хотели чего-либо, поистине угодного народу! Ибо все граждане, и в своих мыслях и в своих высказываниях о благе государства, теперь согласны между собой. Так что же это за стремление провести закон, чрезвычайно позорный и ни для кого не желанный? В самом деле, что более позорно, чем положение, когда человек, своими насильственными действиями оскорбивший величество римского народа, снова, будучи осужден по суду, обращается к таким же насильственным действиям, за какие он по закону был осужден? (22) Но зачем я все еще обсуждаю этот закон? Как будто действительно имеется в виду, что кто-нибудь совершит провокацию к народу! Нет, все это задумано и предложено для того, чтобы вообще никого никогда на основании этих законов нельзя было привлечь к суду. Найдется ли столь безумный обвинитель, чтобы согласиться уже после осуждения обвиняемого предстать перед подкупленной толпой? Какой судья осмелится осудить обвиняемого, зная, что его самого сейчас же поволокут на суд шайки наймитов?

Итак, права провокации этот закон не дает, но два необычайно полезных закона и два вида постоянного суда уничтожает. Разве он не призывает молодежь в ряды мятежных граждан, губителей государства? До каких только разрушительных действий не дойдет бешенство трибунов после упразднения этих двух видов постоянного суда — за насильственные действия и за оскорбление величества? (23) А разве тем самым не отменяются частично законы Цезаря, которые велют отказывать в воде и огне⁴⁴ людям, осужденным как за насильственные действия, так и за оскорбление величества? Если им предоставляют право провокации, то разве не уничтожаются этим распоряжения Цезаря? Именно эти законы лично я, хотя никогда их не одобрял, отцы-сенаторы, все же признал нужным ради всеобщего согласия сохранить в силе, не находя в те времена возможным отменять не только законы, проведенные Цезарем при его жизни, но даже те, которые, как видите, предъявлены нам после смерти Цезаря и выставлены для ознакомления.

(X, 24) Изгнанников возвратил умерший⁴⁵, не только отдельным лицам, но и народам и целым провинциям гражданские права даровал умерший; предоставлением неограниченных льгот нанес ущерб государственным доходам умерший. И все это, исходящее из его дома, при единственном — ну, конечно, честнейшем — поручителе мы отстаиваем, а те законы, что сам Цезарь в нашем присутствии прочитал, огласил, провел, законы, изданием которых он гордился, которыми он, по его мнению, укреплял наш государственный строй, — о провинциях, о судеустройстве — повторяю, эти Цезаревы законы мы, отстаивающие распоряжения Цезаря, считаем нужным уничтожить? (25) Но все же этими законами, что были объявлены, мы можем, по крайней мере, быть недовольны; а по отношению к законам, как нам говорят, уже изданным, мы лишены даже этой возможности; ибо они без какой бы то ни было промьюльгации были изданы еще до того, как были составлены.

А впрочем, я все же спрашиваю, почему и я сам, и любой из вас, отцы-сенаторы, при честных народных трибунах боится внесения дурных законов. У нас есть люди, готовые совершить интерцессию, готовые защитить государство указаниями на религиозные запреты; страшиться мы как будто не должны. "О каких толкуешь ты мне интерцессиях, — спрашивает Антоний, — о каких запретах?" Разумеется, о тех, на которых зиждется благополучие государства. — "Мы презираем их и считаем устаревшими и нелепыми. Форум будет перегороджен; заперты будут все входы; повсюду будет расставлена вооруженная стража". — (26) А дальше? То, что будет принято таким образом, будет считаться законом? И вы, пожалуй, прикажете вырезать на меди те установленные законом слова: "*Консулы в законном порядке предложили народу* (такое ли право рогации⁴⁶ мы получили от предков?), *и народ законным порядком постановил*". Какой народ? Не тот ли, который не был допущен на

форум? Каким законным порядком? Не тем ли, который полностью уничтожен вооруженной силой? Я теперь говорю о будущем, так как долг друзей — заблаговременно говорить о том, чего возможно избежать; если же ничего этого не случится, то мои возражения отпадут сами собой. Я говорю о законах объявленных, по отношению к которым вы еще свободны в своих решениях; я указываю вам на их недостатки — исправьте их; я сообщаю вам о насильственных действиях, о применении оружия — устраните все это.

(XI, 27) Во всяком случае, Долабелла, негодовать на меня, когда я говорю в защиту государства, вы не должны. Впрочем, о тебе я этого не думаю, твою обходительность я знаю; но твой коллега, говорят, при своей нынешней судьбе, которая кажется ему очень удачной (мне лично он казался бы более удачливым, — не стану выражаться более резко — если бы взял себе за образец своих дедов и своего дядю, бывших консулами⁴⁷), итак, он, слышал я, стал очень уж гневлив. Я хорошо вижу, насколько опасно иметь против себя человека раздраженного и вооруженного, особенно при полной безнаказанности для тех, кто берется за меч; но я предложу справедливые условия, которых Марк Антоний, мне думается, не отвергнет: если я скажу что-либо оскорбительное о его образе жизни или о его нравах, то пусть он станет моим жесточайшим недругом; но если я останусь верен своей привычке, [какая у меня всегда была в моей государственной деятельности,] то пусть если я буду свободно высказывать все, что думаю о положении государства, то я, во-первых, прошу его не раздражаться против меня; во-вторых, если моя просьба будет безуспешной, то прошу его выражать свое недовольство мной как гражданином; пусть он прибегает к вооруженной охране, если это, по его мнению, необходимо для самозащиты; но если кто-нибудь выскажет в защиту государства то, что найдет нужным, пусть эти вооруженные люди не причиняют ему вреда. Может ли быть более справедливое требование? (28) Но если, как мне сказал кое-кто из приятелей Марка Антония, все сказанное наперекор ему глубоко оскорбляет его, даже когда ничего обидного о нем не говорилось, то мне придется примириться и с таким характером своего приятеля. Но те же люди говорят мне еще вот что: "Тебе, противнику Цезаря, не будет разрешено то же, что Писону, его тестю". В то же время они меня предостерегают, я приму это во внимание: "Отныне болезнь не будут признавать более законной причиной неявки в сенат, чем смерть".

(XII, 29) Но — во имя бессмертных богов! — я, глядя на тебя, Долабелла (а ведь ты мне очень дорог), не могу умолчать о том заблуждении, в какое впали мы оба: я уверен, что вы, знатные мужи, стремясь к великим деяниям, жаждали не денег, как это подозревают некоторые чересчур легковверные люди, не денег, к которым виднейшие и славнейшие мужи всегда относились с презрением, не богатств, достаемых путем насилия, и не владычества, нестерпимого для римского народа, а любви сограждан и славы. Но слава — это хвала за справедливые деяния и великие заслуги перед государством; она утверждается свидетельством как любого честного человека, так и большинства. (30) Я сказал бы тебе, Долабелла, каковы бывают плоды справедливых деяний, если бы не видел, что ты недавно постиг это на своем опыте лучше, чем кто бы то ни было другой.

Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь день в твоей жизни, озаренный более светлой радостью, чем тот, когда ты, очистив форум от кощунства, рассеяв сборище нечестивцев, наказав зачинщиков преступления, [избавив Рим от поджога и от страха перед резней,] вернулся в свой дом? Разве тогда представители разных сословий, люди разного происхождения, словом, разного положения не высказывали тебе похвал и благодарности? Более того, даже меня, чьими советами ты, как говорили, руководишься, честные мужи благодарили за тебя и поздравляли. Вспомни, прошу тебя, Долабелла, о тех единодушных возгласах в театре⁴⁸, когда все присутствующие, забыв о причинах своего прежнего недовольства тобой, дали понять, что они после твоего неожиданного благодеяния забыли

свою былую обиду⁴⁹. (31) И от этой ты, Публий Долабелла, — говорю это с большим огорчением — от этой, повторяю, огромной чести ты смог равнодушно отказаться?

(XIII) А ты, Марк Антоний, — обращаюсь к тебе, хотя тебя здесь и нет, — не ценишь ли ты один тот день, когда сенат собрался в храме Земли, больше, чем все последние месяцы, на протяжении которых некоторые люди, во многом расходящиеся со мной во взглядах, именно тебя считали счастливым? Какую речь произнес ты о согласии! От каких больших опасений избавил ты тогда сенат, от какой сильной тревоги — граждан, когда ты, отбросив вражду, забыв об авспициях, о которых ты, как авгур римского народа, сам возвестил, коллегу своего в тот день впервые признал коллегой⁵⁰, а своего маленького сына прислал в Капитолий как заложника мира! (32) В какой день сенат, в какой день римский народ ликовали больше? Ведь более многолюдной сходки не бывало никогда⁵¹. Только тогда казались мы подлинно освобожденными благодаря храбрейшим мужам, так как, в соответствии с их волей, за освобождением последовал мир. На ближайший, на следующий, на третий день, наконец, на протяжении нескольких последующих дней ты не переставал каждый день приносить государству какой-нибудь, я сказал бы, дар; но величайшим твоим даром было то, что ты уничтожил самое имя диктатуры. Это было клеймо, которое ты, повторяю, ты выжег на теле Цезаря, после его смерти, на вечный позор ему. Подобно тому как из-за преступления одного-единственного Марка Манлия ни одному из патрициев Манлиев, в силу решения Манлиева рода, нельзя носить имя "Марк"⁵², так и ты из-за ненависти к одному диктатору совершенно уничтожил звание диктатора. (33) Неужели ты, совершив во имя блага государства такие великие деяния, был недоволен своей счастливой судьбой, высоким положением, известностью, славой? Так откуда вдруг такая перемена? Не могу подумать, что тебя соблазнили деньгами. Пусть говорят, что угодно; верить этому необходимости нет; ибо я никогда не видел в тебе никакой подлости, никакой низости. Впрочем, порой домочадцы оказывают дурное влияние⁵³, но твою стойкость я знаю. О, если бы ты, избегнув вины, смог избегнуть даже и подозрения в виновности!

(XIV) Но вот чего я опасаясь сильнее: как бы ты не ошибся в выборе истинного пути к славе, не счел, что быть могущественнее всех, внушать согражданам страх, а не любовь, — это слава. Если ты так думаешь, путь славы тебе совершенно неведом. Пользоваться любовью у граждан, иметь заслуги перед государством, быть восхваляемым, уважаемым, почитаемым — все это и есть слава; но внушать к себе страх и ненависть тяжело, отвратительно; это признак слабости и неуверенности в себе. (34) Как мы видим также и в трагедии, это принесло гибель тому, кто сказал: "Пусть ненавидят, лишь бы боялись⁵⁴!".

О, если бы ты, Марк Антоний, помнил о своем деде! О нем ты слышал от меня многое и притом не раз. Уж не думаешь ли ты, что он хотел заслужить бессмертную славу, внушая страх своим правом на вооруженную охрану? У него была настоящая жизнь, у него была счастливая судьба: он был свободен, как все, но был первым по достоинству. Итак, — уж не буду говорить о счастливых временах в жизни твоего деда — даже самый тяжкий для него последний день я предпочел бы владычеству Луция Цинны, от чьей жестокости он погиб.

(35) Но стоит ли мне пытаться воздействовать на тебя своей речью? Ведь если конец Гая Цезаря не может заставить тебя предпочесть внушать людям любовь, а не страх, то ничья речь не принесет тебе пользы и не произведет на тебя впечатления. Ведь те, которые думают, что он был счастлив, сами несчастны. Не может быть счастлив человек, который находится в таком положении, что его могут убить, уже не говорю — безнаказанно, нет, даже с величайшей славой для убийцы⁵⁵. Итак, сверни с этого пути, прошу тебя, взгляни на своих предков и правь государственным кораблем так, чтобы сограждане радовались тому, что ты рожден на свет, без чего вообще никто не может быть ни счастлив, ни славен, ни невредим.

(XV, 36) А римский народ? Я приведу вам обоим многие суждения его; они, правда, вас мало трогают, что меня очень огорчает. В самом деле, о чем свидетельствуют возгласы бесчисленного множества граждан, раздававшиеся во время боев гладиаторов? А стишки, которые распевал народ? А нескончаемые рукоплескания статуе Помпея⁵⁶ и двоим народным трибунам, вашим противникам? Разве все это не достаточно ясно свидетельствует о необычайно единодушной воле всего римского народа? И неужели вам показались малозначительными рукоплескания во время игр в честь Аполлона, вернее, суждения и приговор римского народа? О, сколь счастливы те, которые, не имея возможности присутствовать из-за применения вооруженной силы, все же присутствовали, так как память о них вошла в плоть и в кровь римского народа! Или, может быть, вы полагали тогда, что рукоплещут Акцию и по прошествии шестидесяти лет венчают пальмовой ветвью его, а не Брута, которому, хотя он и был лишен возможности присутствовать на им же устроенных играх, все же во время этого великолепного зрелища римский народ воздавал должное в его отсутствие и тоску по своему освободителю смягчал непрекращавшимися рукоплесканиями и возгласами⁵⁷?

(37) Я всегда относился к таким рукоплесканиям с презрением, когда ими встречали граждан, заискивающих перед народом, и в то же время, если они исходят от людей, занимающих и наивысшее, и среднее, и низшее положение, словом, от всех граждан, и если те, кто ранее обычно пользовался успехом у народа, от него бегут, я считаю эти рукоплескания приговором. Но если вы не придаете этому большого значения (хотя все это очень важно), то неужели вы относитесь с пренебрежением также и к тому, что вы почувствовали, а именно — что жизнь Авла Гирция была так дорога римскому народу? Ведь было достаточно и того, что он пользуется расположением римского народа, — а это действительно так — приятной друзей, которая совершенно исключительна, любовью родных, глубоко любящих его. Но за кого, на памяти нашей, все честные люди так сильно тревожились, так сильно боялись⁵⁸? Конечно, ни за кого другого. (38) И что же? И вы — во имя бессмертных богов! — не понимаете, что это значит? Как? Неужели, по вашему мнению, о вашей жизни не думают те, кому жизнь людей, от которых они ожидают забот о благе государства, так дорога?

(39) Я не напрасно возвратился сюда, отцы-сенаторы, ибо и я высказался так, что — будь, что будет! — свидетельство моей непоколебимости останется навсегда, вы выслушали меня благосклонно и внимательно. Если подобная возможность представится мне и впредь и не будет грозить опасностью ни мне⁵⁹, ни вам, то я воспользуюсь ею. Не то — буду оберегать свою жизнь, как смогу, не столько ради себя, сколько ради государства. Для меня вполне достаточно того, что я дожил и до преклонного возраста, и до славы. Если к тому и другому что-либо прибавится, то это пойдет на пользу уже не столько мне, сколько вам и государству.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРВАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ

1. После убийства диктатора Цезаря.
2. 17 марта 44 г. *Храм Земли* находился на склоне Эсквилинского холма.
3. *Греческое слово* — "амнистия" (предание забвению). Амнистия была объявлена в Афинах после изгнания 30 тираннов (403 г.).
4. 17 марта, в последний день Либералий, Антоний предложил заговорщикам спуститься из Капитолия и дал им в заложники своего сына.
5. Цицерон умалчивает о таких действиях Антония за время от 17 марта и до 1 июня, как набор ветеранов и личной охраны, раздача денег, предоставление льгот, возвращение изгнанных. Ср. письмо Fam., XII, 1, 1 (DCCXXIV).
6. Секст Клодий, осужденный в 52 г. См. письмо Att., XIV, 13а, 2 сл. (DCCXVII).

7. Антоний провел в сенате постановление об упразднении диктатуры навсегда, впоследствии подтвержденное законом. Цицерон не верил в искренность Антония. Ср. речь 26, § 89; письма Att., XIV, 10, 1 (DCCXIV); 14, 2 (DCCXX); Fam, X, 28 (DCCCXIX).
8. Тело преступника низкого происхождения после казни влекли крюком к Гемониевым ступеням, лестнице, которая вела с Авентинского холма к Тибру, и бросали в реку.
9. Герофил (Аматий), выдававший себя за внука Гая Мария, был казнен Публием Корнелием Долабеллой, которого Цезарь сделал консулом-суффектом (заместителем) на время своего похода против парфян.
10. Колонна, воздвигнутая на форуме, на месте, где было сожжено тело Цезаря; на ней была надпись: "Отцу отечества"; около колонны совершались жертвоприношения, давались обеты. См. письма Att., XII, 49, 1 (DCII); XIV, 15, 2 (DCCXXI); Fam., XI, 2, 9 (DCCXLII); XII, 1, 1 (DCCXXIV).
11. Сожжение тела Цезаря на форуме, совершенное в нарушение правил государственных похорон. См. вводное примечание.
12. *Избранными консулами* на 43 г. были Авл Гирций и Гай Вибий Панса.
13. Марк Брут и Гай Кассий, покинувшие Рим в середине апреля 44 г. См. письма Fam., XI, 2 (DCCXLII); Att., XV, 5, 2 (DCCXL); 20, 2 (DCCLIII).
14. В начале июня Цицерон был назначен легатом Долабеллы и должен был сопровождать его в Сирию. См. письмо Att., XV, 11, 4 (DCCXLVI).
15. В Брундисии находились четыре македонских легиона Антония.
16. *Австр* — южный ветер.
17. *Эдикт преторов Марка Брута и Гая Кассия*; они писали о своем согласии жить в изгнании, если это сможет принести мир государству. Ср. письма Fam., XI, 3 (DCCLXXXII); Att., XVI, 7, 1, 7 (DCCLXXXIII); Веллей Патеркул, II, 62, 3.
18. Трансальпийская и Цисальпийская Галлии. Наместником первой Цезарь сделал Тита Мунация Планка [Луция Мунация Планка. — Прим. О. Любимовой.], наместником второй — Децима Брута. Распространился слух, что Антоний требует эти провинции для себя. См. письмо Att., XIV, 14, 4 (DCCXX).
19. Ср. письмо Att., XVI, 7, 5, 7 (DCCLXXXIII).
20. Убийство Цезаря.
21. *Луций Кальпурний Писон*, консул 58 г., тесть Цезаря. Речь Писона была направлена против Антония.
22. Ср. письма Fam., XII, 2, 1 (DCCXC). См. Авл Геллий, XVI, 1.
23. По римской терминологии *amicitia* — политическое единомыслие. Ср. письма Fam., I, 8, 2 (CXXIII); III, 10, 10 (CCLXII). "Услуга" — то, что Антоний пощадил Цицерона в Брундисии в 47 г. Ср. речь 26, § 5, 59.
24. См. прим. 106 к речи 13.
25. Ср. речь 19, § 34; "О старости", § 16.
26. См. прим. 22 к речи 11. В честь Цезаря было прибавлено по одному дню ко всем молебствиям. Так как Цезарь был обожествлен, то убийство его было, с точки зрения религии, кощунством. Ср. речь 26, § 110.
27. Для обеспечения явки сенаторов магистрат мог брать у них залог или впоследствии штрафовать их за неявку.
28. См. письма Att., IV, 2 (XCI); 3, 2 (XCII).
29. *Паренталии* — обряды в память умерших родных, жертвы для умилоствления манов. См. Овидий, "Фасты", II, 570. С молебствиями обращались только к богам-олимпийцам (*di superi*), поэтому Цицерон и говорит о кощунстве, не считаясь с тем, что Цезарь был при жизни обожествлен. Ср. речь 26, § 110.
30. *Луций Юний Брут*, по традиции, участвовавший в изгнании царей, был патрицием; его род угас со смертью его сыновей. Позднейшие Юнии были плебеями, но из политических соображений было выгодно приписывать убийство Цезаря потомкам основателя республики. Ср. речь 26, § 26.

31. Намек на возможный подкуп сенаторов Антонием.
32. См. прим. 1 к речи 1. Ирония: солдаты Антония.
33. Ср. речь 26, § 100; Аппиан, III, 22.
34. См. письма Att., XIV, 10, 1 (DCCXIV); Fam., XII, 1, 2 (DCCXXIV).
35. Итальяское божество плодородия, жена Сатурна. *Храм Опс* находился на капитолийском склоне. "Обагрённые кровью" деньги — 700 миллионов сестерциев — были собраны от продажи имущества помпеянцев и самого Гнея Помпея. Ср. речь 26, § 93; письма Att., XIV, 14, 5 (DCCXX); 18, 1 (DCCXXVII); XVI, 14, 3 (DCCCV).
36. О тоге см. прим. 96 к речи 1, об империи — прим. 90 к речи 1.
37. Консульство "без коллеги" в 52 г.
38. Юлиев закон 46 г. о провинциях.
39. Юлиев закон 46 г. о *судоустройстве* упразднил третью декурию (этарные трибуны), входившую в состав совета уголовного суда в силу Аврелиева закона 70 г. Антоний хотел восстановить третью декурию, образовав ее из центурионов и солдат легиона "жаворонков". См. прим. 42.
40. "Вы" — консулы Антоний и Долабелла. Имеется в виду Антоний.
41. Помпеев закон о судоустройстве (55 г.), сохранив три декурии, установленные *Аврелиевым законом*, ограничил право участия в суде состоятельными членами сословий и изменил порядок назначения судей.
42. Солдаты легиона, набранного Цезарем в Трансальпийской Галлии, носили на шлеме птичьего перья, что напоминало хохолок жаворонка. Цезарь даровал "жаворонкам" права римского гражданства.
43. О насильственных действиях см. прим. 46 к речи 16, об оскорблении величества римского народа — прим. 40 к речи 2. Людям, осужденным в постоянном суде, право провокации, т.е. обращения к центуриатским или трибутским комициям, не предоставлялось.
44. Формула изгнания. См. вводное примечание к речи 8.
45. Известен только случай возвращения Секста Клодия; см. речь 26, § 97; письма Att., XIV, 12, 1 (DCCXVI); 13а, 2 (DCCXVII).
46. Внесение закона в комиции и самый законопроект.
47. Дед Антония со стороны отца — оратор Марк Антоний, со стороны матери — Луций Юлий Цезарь, консул 90 г. Оба были убиты марианцами в 87 г. Дядя со стороны матери — Луций Юлий Цезарь, консул 64 г.
48. См. ниже, § 37; речь 18, § 115.
49. Проект отмены долгов, предложенный Долабеллой в 47 г., в отсутствие Цезаря.
50. Антоний в 44 г. наблюдал за небесными знаменами при назначении Долабеллы консулом-суффектом; см. прим. 11 к речи 8.
51. Народная сходка 17 марта после собрания сената в храме Земли.
52. О Марке Манлии Капитолийском см. прим. 37 к речи 14.
53. Намек на Фульвию, жену Антония. Ср. речь 26, § 11, 113.
54. Луций Акции, "Атрей", фрагм. 168, Уормингтон. Ср. речь 18, § 102; Цицерон, "Об обязанностях", I, § 17.
55. Цицерон часто высказывает этот взгляд. Ср. речь 18, § 91 сл.; "О государстве", II, § 46.
56. Конная статуя Помпея находилась перед построенным им театром.
57. Игры в честь Аполлона начинались 7 июля. Их должен был устроить Марк Брут как городской претор. 5 июня сенат постановил, чтобы Брут и Гай Кассий выехали в восточные провинции закупать хлеб для Рима. Трагедия Акции "Брут" (об изгнании царей) была заменена его же трагедией "Терей". Слова "по прошествии 60 лет" возвращают нас к 104 г. (первое представление трагедии?). Ср. речи 18, § 117 сл.; 26, § 31; письма Att., XVI, 2, 3 (DCCLXXII); 4, 1 (DCCLXXI).
58. Ср. Филиппика VII, § 12; Авл Гирций, сподвижник Цезаря по галльской и гражданской войнам, был избран в консулы на 43 г. Он пал в бою под Мутиной 21 апреля 43 г.
59. Ср. выше, § 10; письмо Att., XIV, 13, 2 (DCCXIX).

ВТОРАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ

[Опубликована 28 ноября 44 г.]

(I, 1) Каким велением моей судьбы, отцы-сенаторы, объяснить мне то, что на протяжении последних двадцати лет¹ не было ни одного врага государства, который бы в то же время не объявил войны и мне? Нет необходимости называть кого-либо по имени: вы сами помните, о ком идет речь. Эти люди² понесли от меня более тяжкую кару, чем я желал. Тебе удивляюсь я, Антоний, — тому, что конец тех, чьим поступкам ты подражаешь, тебя не страшит. И я меньше удивлялся этому, когда дело касалось их; ведь ни один из них не стал моим недругом по своей воле; на них всех я, радея о благе государства, напал первый. Ты же, не оскорбленный мной ни единым словом, желая показаться более дерзким, чем Катилина, более бешеным, чем Клодий, сам напал на меня с бранью и счел, что разрыв со мной принесет тебе уважение нечестивых граждан. (2) Что подумать мне? Что я заслуживаю презрения? Но я не вижу ни в своей частной жизни, ни в своем общественном положении, ни в своей деятельности, ни в своих дарованиях — даже если они и посредственны — ничего такого, на что Антоний мог бы взглянуть свысока. Или он подумал, что именно в сенате мое значение легче всего умалить? Однако наше сословие засвидетельствовало, что многие прославленные граждане честно вели дела государства, но что спас его я один³. Или он захотел вступить в состязание со мной на поприще ораторского искусства? Да, поистине это немалая услуга мне. В самом деле, какой возможен для меня более обширный, более благодарный предмет для речи, чем защитить себя и выступить против Антония? Несомненно, вот в чем дело: он подумал, что свою вражду к отечеству он не сможет доказать подобным ему людям никаким иным способом, если только не станет недругом мне. (3) Прежде чем отвечать ему о других обстоятельствах дела, я скажу несколько слов о дружбе, в нарушении которой он меня обвинил, это я считаю самым тяжким обвинением.

(II) Антоний пожаловался на то, что я — уже не помню, когда, — выступил в суде во вред ему. Неужели мне не следовало выступать против чужого мне человека в защиту близкого и родственника, выступать против влияния, которого Антоний достиг не подаваемыми им надеждами на доблестные деяния, а цветущей юностью? Не следовало выступать против беззакония, которого он добился благодаря несправедливейшей интерцессии, а не на основании разбора дела у претора? Но ты упомянул об этом, мне думается, для того, чтобы снискать расположение низшего сословия, так как все вольноотпущенники вспоминали, что ты был зятем, а твои дети — внуками вольноотпущенника Квинта Фадия⁴. Но ведь ты, как ты утверждаешь, поступил ко мне для обучения, ты посещал мой дом⁵. Право, если бы ты делал это, ты лучше позаботился бы о своем добром имени, о своем целомудрии. Но ты не сделал этого, а если бы ты и желал, то Гай Курион⁶ этого тебе бы не позволил.

(4) От соискания авгурата ты, по твоим словам, отказался в мою пользу⁷. О, невероятная дерзость! О, вопиющее бесстыдство! Ведь в то время как вся коллегия желала видеть меня авгуром, а Гней Помпей и Квинт Гортенсий⁸ назвали мое имя (предложение от лица многих не допускалось), ты был несостоятельным должником и полагал, что сможешь уцелеть только в том случае, если произойдет государственный переворот. Но мог ли ты добиваться авгурата в то время, когда Гая Куриона в Италии не было? А тогда, когда тебя избрали, смог ли бы ты без Куриона получить голоса хотя бы одной трибы? Ведь даже его близкие друзья были осуждены за насильственные действия⁹, так как были чересчур преданы тебе.

(III, 5) Но ты, по твоим словам, оказал мне благодеяние. Какое? Впрочем, именно то, о чем ты упоминаешь, я всегда открыто признавал: я предпочел признать, что я перед тобой в долгу,

лишь бы мне не показаться кому-нибудь из людей менее осведомленных недостаточно благодарным человеком. Но какое же благодеяние? То, что ты не убил меня в Брундисии? Меня, которого даже победитель¹⁰, пожаловавший тебе, как ты сам был склонен хвалиться, главенство среди своих разбойников, хотел видеть невредимым, меня, которому он велел выехать в Италию, ты убил бы? Допустим, что ты мог это сделать. Какого другого благодеяния можно ожидать от разбойников, отцы-сенаторы, кроме того, что они могут говорить, будто даровали жизнь тем людям, которых они ее не лишили? Если бы это было благодеянием, то те люди, которые убили человека, сохранившего им жизнь, те, кого ты сам привык называть прославленными мужами¹¹, никогда не удостоились бы столь высокой хвалы. Но что это за благодеяние — воздержаться от нечестивого злодейства? В этом деле мне следовало не столько радоваться тому, что ты меня не убил, сколько скорбеть о том, что ты мог убить меня безнаказанно. (6) Но пусть это было благодеянием, коль скоро от разбойника не получишь большего. За что ты можешь называть меня неблагодарным? Неужели я не должен был сетовать на гибель государства, чтобы не показаться неблагодарным по отношению к тебе? И при этих моих сетованиях¹², правда, печальных и горестных, но ввиду высокого положения, которого меня удостоили сенат и римский народ, для меня неизбежных, разве я сказал что-либо оскорбительное или выразился несдержанно и не по-дружески? Насколько надо было владеть собой, чтобы, сетуя на действия Марка Антония, удержаться от резких слов! Особенно после того, как ты развеял по ветру остатки государства¹³, когда у тебя в доме все стало продажным, стало предметом позорнейшей торговли, когда ты признавал, что законы — те, которые и объявлены никогда не были, — проведены относительно тебя и самим тобой; когда ты, авгур, упразднил авспиции и ты, консул, — интерцессию¹⁴; когда ты, к своему величайшему позору, окружил себя вооруженными людьми; когда ты в своем непотребном доме изо дня в день предавался всевозможным гнусностям, изнуренный пьянством и развратом. (7) Но, горько сетуя на положение государства, я ничего не сказал об Антонии как человеке, словно я имел дело с Марком Крассом (ведь с ним у меня было много споров и притом сильных), а не с подлейшим гладиатором. Поэтому сегодня я постараюсь, чтобы Антоний понял, какое большое благодеяние оказал я ему в тот раз.

(IV) Но он, этот человек, совершенно невоспитанный и не имеющий понятия о взаимоотношениях между людьми, даже огласил письмо, которое я, по его словам, прислал ему¹⁵. В самом деле, какой человек, которому хотя бы в малой степени известны правила общения между порядочными людьми, под влиянием какой бы то ни было обиды когда-либо предал гласности и во всеуслышание прочитал письмо, присланное ему его другом? Не означает ли это устранять из жизни правила общежития, устранять возможность беседовать с друзьями, находящимися в отсутствии? Как много бывает в письмах шуток, которые, если сделать их общим достоянием, должны показаться неуместными, как много серьезных мыслей, которые, однако, отнюдь не следует распространять! (8) Припишем это его невоспитанности; но вот на глупость его невероятную обратите внимание. Что сможешь ответить мне ты, красноречивый человек, как думают Мустела и Тирон¹⁶? Так как они в настоящее время стоят с мечами в руках перед лицом сената, то я, пожалуй, признаю тебя красноречивым, если ты сумеешь показать, как ты будешь защищать их в суде по делам об убийстве. И, наконец, что ты мне возразишь, если я заявлю, что я вообще никогда не посылал тебе этого письма? При посредстве какого свидетеля мог бы ты изобличить меня? Или ты исследовал бы почерк? Ведь тебе хорошо знакома эта прибыльная наука¹⁷. Но как смог бы ты это сделать? Ведь письмо написано рукой писца. Я уже завидую твоему наставнику — тому, кто за такую большую плату, о которой я сейчас всем расскажу, учит тебя ничего не смыслить. (9) Действительно, что менее подобает, не скажу — оратору, но вообще любому человеку, чем возражать противнику таким образом, что тому достаточно будет простого отрицания на словах, чтобы дальше возражать было уже нечего? Но я ничего не отрицаю и тем самым могу изобличить тебя не только в невоспитанности, но и в неразумии. В самом деле, какое слово найдется в этом письме, которое бы не было преисполнено доброты, услужливости,

благожелательности? Твое же все обвинение сводится к тому, что я в этом письме хорошо отзываюсь о тебе, что пишу тебе как гражданину, как честному мужу, а не как преступнику и разбойнику. Но я все-таки не стану оглашать твоего письма, хотя и мог это сделать с полным правом в ответ на твои нападки. В нем ты просишь разрешить тебе возвратить одного человека из изгнания и клянешься, что наперекор мне ты этого не сделаешь. И ты получил мое согласие. Право, к чему мне мешать тебе в твоей дерзости, которую ни авторитет нашего сословия, ни мнение римского народа, ни какие бы то ни было законы обуздать не могут? (10) Какое же, в самом деле, было у тебя основание просить меня, если тот, за кого ты просил, на основании закона Цезаря¹⁸ уже возвращен? Но Антоний, очевидно, захотел моего согласия в том деле, в котором не было никакой нужды даже в его собственной согласии, раз закон уже был проведен.

(V) Но так как мне, отцы-сенаторы, предстоит сказать кое-что в свою собственную защиту и многое против Марка Антония, то я, с одной стороны, прошу вас выслушать благосклонно мою речь в мою защиту; с другой стороны, я сам постараюсь о том, чтобы вы слушали внимательно, когда я буду выступать против него. Заодно молю вас вот о чем: если вам известны моя сдержанность и скромность как во всей моей жизни, так и в речах, то не думайте, что сегодня я, отвечая тому, кто меня на это вызвал, изменил своему обыкновению. Я не стану обращаться с ним, как с консулом; да и он не держал себя со мной, как с консуляром. А впрочем, признать его консулом никак нельзя — ни по его образу жизни, ни по его способу управлять государством, ни по тому, как он был избран, а вот я, без всякого сомнения, консуляр. (11) Итак, дабы вы поняли, что он за консул, он поставил мне в вину мое консульство. Это консульство было на словах моим, отцы-сенаторы, но на деле — вашим. Ибо какое решение принял я, что совершил я, что предложил я не по совету, не с согласия, не по решению этого сословия¹⁹? И ты, человек, столь же разумный, сколь и красноречивый, в присутствии тех, по чьему совету и разумению это было совершено, осмелился это порицать? Но нашелся ли кто-нибудь, кроме тебя и Публия Клодия, кто стал бы порицать мое консульство? И как раз тебя и ожидает участь Клодия, как была она уготована Гаю Куриону²⁰, так как у тебя в доме находится та, которая для них обоих была злым роком²¹.

(12) Не одобряет моего консульства Марк Антоний; но его одобрил Публий Сервилий, — назову первым из консуляров тех времен имя того, кто умер недавно, — его одобрил Квинт Катул, чей авторитет всегда будет жить в нашем государстве; его одобрили оба Лукулла, Марк Красс, Квинт Гортенсий, Гай Курион, Гай Писон, Маний Глабрион, Маний Лепид, Луций Волькаций, Гай Фигул, Децим Силан и Луций Мурена, бывшие тогда избранными консулами²². То, что одобрили консуляры, одобрил и Марк Катон который, уходя из жизни, предвидел многое — ведь он не увидел тебя консулом²³. Но, поистине, более всего одобрил мое консульство Гней Помпей, который, как только увидел меня после своего возвращения из Сирии, обнял меня и с благодарностью сказал, что мои заслуги позволили ему видеть отечество²⁴. Но зачем я упоминаю об отдельных лицах? Его одобрил сенат, собравшийся в полном составе, и не было сенатора, который бы не благодарил меня, как отца, не заявлял, что обязан мне жизнью, достоянием своим, жизнью детей, целостью государства²⁵.

(VI, 13) Но так как тех, кого я назвал, столь многочисленных и столь выдающихся мужей, государство уже лишилось, то перейдем к живым, а их из числа консуляров осталось двое. Луций Котта²⁶, муж выдающихся дарований и величайшего ума, после тех событий, которые ты осуждаешь, в весьма лестных для меня выражениях подал голос за назначение молебствия, а те самые консуляры, которых я только что назвал, и весь сенат согласились с ним, а со времени основания нашего города этот почет до меня ни одному человеку, носящему тогу, оказан не был²⁷. (14) А Луций Цезарь²⁸, твой дядя по матери? Какую речь, с какой непоколебимостью, с какой убедительностью произнес он, подавая голос против мужа своей сестры, твоего отчима²⁹? Хотя ты во всех своих замыслах и во всей своей жизни должен был

бы смотреть на Луция Цезаря как на руководителя и наставника, ты предпочел быть похожим на отчима, а не на дядю. Его советами, в бытность свою консулом, пользовался я, чужой ему человек. А ты, сын его сестры? Обратился ли ты когда-либо к нему за советом насчет положения государства? Но к кому же обращается он? Бессмертные боги! Как видно, к тем, о чьих даже днях рожденья мы вынуждены узнавать! (15) Сегодня Антоний на форум не спускался. Почему? Он устраивает в своем загородном имении празднество по случаю дня рождения. Для кого? Имен называть не стану. Положим — или для какого-то Формиона, или для Гнафона, а там даже и для Баллиона³⁰. О, гнусная мерзость! О, нестерпимое бесстыдство, ничтожность, разврат этого человека! Хотя первоприсутствующий в сенате, гражданин исключительного достоинства — твой близкий родственник, но ты к нему по поводу положения государства не обращаешься; ты обращаешься к тем, которые своего достоинства не имеют, а твое проматывают!

(VII) Твое консульство, видимо, было спасительным; губительным было мое. Неужели ты до такой степени вместе со стыдливостью утратил и всякий стыд, что осмелился сказать это в том самом храме, где я совещался с сенатом, стоявшим некогда, в расцвете своей славы, во главе всего мира, и где ты собрал отъявленных негодяев с мечами в руках? (16) Но ты даже осмелился — на что только не осмелишься ты? — сказать, что в мое консульство капитолийский склон заполнили вооруженные рабы³¹. Пожалуй, именно для того, чтобы сенат вынес в ту пору свои преступные постановления, и я пытался применить насилие к сенату! О, жалкий человек! Тебе либо ничего об этом не известно (ведь о честных поступках ты не знаешь ничего), либо, если известно, то как ты смеешь столь бесстыдно говорить в присутствии таких мужей! В самом деле, какой римский всадник, какой, кроме тебя, знатный юноша, какой человек из любого сословия, помнивший о том, что он — гражданин, не находился на капитолийском склоне, когда сенат собрался в этом храме? Кто только не внес своего имени в списки? Впрочем, писцы даже не могли справиться с работой, а списки не могли вместить имен всех явившихся. (17) И право, когда нечестивцы сознались в покушении на отцеубийство отчизны и, избалованные показаниями своих соучастников, своим почерком, чуть ли не голосом своих писем, признали, что сговорились город Рим предать пламени, граждан истребить, разорить Италию, уничтожить государство, то мог ли найтись человек, который бы не поднялся на защиту всеобщей неприкосновенности, тем более, что у сената и римского народа тогда был такой руководитель³², при котором, будь ныне кто-нибудь, подобный ему, тебя постигла бы та же участь, какую испытали те люди?

Антоний утверждает, что я не выдал ему тела его отчима для погребения. Даже Публию Клодию никогда не приходило в голову говорить это; да, я с полным основанием был недругом твоего отчима, но меня огорчает, что ты уже превзошел его во всех пороках. (18) Но как тебе пришло на ум напомнить нам, что ты воспитан в доме Публия Лентула? Или мы, по твоему, пожалуй, могли подумать, что ты от природы не смог бы оказаться таким негодяем, не присоединись еще обучение?

(VIII) Но ты был столь безрассуден, что во всей своей речи как будто боролся сам с собой и высказывал мысли, не только не связанные одна с другой, но чрезвычайно далекие одна от другой и противоречивые, так что ты спорил не столько со мной, сколько с самим собой. Участие своего отчима в столь тяжком преступлении ты признавал, а на то, что его постигла кара, сетовал. Таким образом, то, что сделано непосредственно мной, ты похвалил, а то, что всецело принадлежит сенату, ты осудил. Ибо взятие виновных под стражу было моим делом, наказание — делом сената. Красноречивый человек, он не понимает, что того, против кого он говорит, он хвалит, а тех, перед чьим лицом говорит, порицает. (19) А это? Какой, не скажу — наглости (ведь он желает быть наглым), но глупости, которой он превосходит всех (правда, этого он вовсе не хочет), приписать то обстоятельство, что он упоминает о капитолийском склоне, когда вооруженные люди снуют между нашими скамьями, когда — бессмертные боги!

— в этом вот храме Согласия, где в мое консульство были внесены спасительные предложения, благодаря которым мы прожили до нынешнего дня, стоят люди с мечами в руках? Обвиняй сенат, обвиняй всадническое сословие, которое тогда объединилось с сенатом, обвиняй все сословия, всех граждан, лишь бы ты признал, что именно теперь итирийцы³³ держат наше сословие в осаде. Не по наглости своей говоришь ты все это так беззастенчиво, но потому, что ты, не замечая всей противоречивости своих слов, вообще ничего не смыслишь. В самом деле, возможно ли что-либо более бессмысленное, чем, взявшись самому за оружие на погибель государству, упрекать другого в том, что он взялся за оружие во имя его спасения?

(20) Но ты по какому-то поводу захотел показать свое остроумие. Всеблагие боги! Как это тебе не пристало! В этом ты немного виноват; ибо ты мог перенять хотя бы немного остроумия у своей жены-актрисы³⁴. «Меч, перед тогой склонись³⁵!» Что же? Разве меч тогда не склонился перед тогой? Но, правда, впоследствии перед твоим мечом склонилась тога. Итак, спросим, что было лучше: чтобы перед свободой римского народа склонились мечи злодеев или чтобы наша свобода склонилась перед твоим мечом? Но насчет стихов я не стану отвечать тебе более подробно. Скажу тебе коротко одно: ни в стихах, ни вообще в литературе ты ничего не смыслишь; я же никогда не оставлял без своей поддержки ни государства, ни друзей и все-таки всеми своими разнообразными сочинениями достиг того, что мои ночные труды и мои писания в какой-то мере служат и юношеству на пользу, и имени римлян во славу. Но говорить об этом не время; рассмотрим вопросы более важные.

(IX, 21) Публий Клодий был, как ты сказал, убит по моему наущению. А что подумали бы люди, если бы он был убит тогда, когда ты с мечом в руках преследовал его на форуме, на глазах у римского народа, и если бы ты довел дело до конца, не устремись он по ступеням книжной лавки и не останови он твоего нападения, загородив проход³⁶? Что я это одобрил, признаю тебе; что я это посоветовал, даже ты не говоришь. Но Милону я не успел даже выразить свое одобрение, так как он довел дело до конца, прежде чем кто-либо мог предположить, что он это сделает. Но я, по твоим словам, дал ему этот совет. Ну, разумеется, Милон был таким человеком, что сам не сумел бы принести пользу государству без чужих советов! Но я, по твоим словам, обрадовался. Как же иначе? При такой большой радости, охватившей всех граждан, мне одному надо было быть печальным? (22) Впрочем, по делу о смерти Клодия было назначено следствие, правда, не вполне разумно. В самом деле, зачем понадобилось на основании чрезвычайного закона³⁷ вести следствие о том, кто убил человека, когда уже существовал постоянный суд, учрежденный на основании законов? Но все же следствие было проведено. И вот, то, чего никто не высказал против меня, когда дело слушалось, через столько лет говоришь ты один.

(23) Кроме того, ты осмелился сказать, — и затратил на это немало слов — что вследствие моих происков Помпей порвал дружеские отношения с Цезарем и что по этой причине, по моей вине, и возникла гражданская война; насчет этого ты ошибся, правда, не во всем, но — и это самое важное — в определении времени этих событий.

(X) Да, в консульство Марка Бибула, выдающегося гражданина, я, насколько мог, не преминул приложить все усилия, чтобы отговорить Помпея от союза с Цезарем. Цезарь в этом отношении был более удачлив; ибо он сам отвлек Помпея от дружбы со мной. Но к чему было мне, после того как Помпей предоставил себя в полное распоряжение Цезаря, пытаться отвлечь Помпея от близости с ним? Глупый мог на это надеяться, а давать ему советы было бы наглостью. (24) И все же, действительно, было два случая, когда я дал Помпею совет во вред Цезарю. Пожалуй, осуди меня за это, если можешь. Один — когда я ему посоветовал воздержаться от продления империя Цезаря еще на пять лет³⁸; другой — когда я посоветовал ему не допускать внесения закона о заочных выборах Цезаря³⁹. Если бы я убедил его в любом

из этих случаев, то нынешние несчастья никогда не постигли бы нас. А когда Помпей уже передал в руки Цезаря все средства — и свои, и римского народа — и поздно начал понимать то, что я предвидел уже давно, когда я видел, что на отечество наше надвигается преступная война, я все-таки не перестал стремиться к миру, согласию, мирному разрешению спора; многим известны мои слова: «О, если бы ты, Помпей, либо никогда не вступал в союз с Цезарем, либо никогда не расторгал его! В первом случае ты проявил бы свою стойкость, во втором — свою предусмотрительность». Вот каковы были, Марк Антоний, мои советы, касавшиеся и Помпея, и положения государства. Если бы они возымели силу, государство осталось бы невредимым, а ты пал бы под бременем своих собственных гнусных поступков, нищеты и позора.

(XI, 25) Но это относится к прошлому, а вот недавнее обвинение: Цезарь будто бы был убит по моему наущению⁴⁰. Боюсь, как бы не показалось, отцы-сенаторы, будто я — а это величайший позор — воспользовался услугами человека, который под видом обвинения превозносит меня не только за мои, но и за чужие заслуги. В самом деле, кто слышал мое имя в числе имен участников этого славнейшего деяния? И, напротив, чье имя — если только этот человек был среди них — осталось неизвестным? «Неизвестным», говорю я? Вернее, чье имя не было тогда у всех на устах? Я скорее сказал бы, что некоторые люди, ничего и не подозревавшие, впоследствии хвалились своим мнимым участием в этом деле⁴¹, но действительные участники его нисколько не хотели этого скрывать. (26) Далее, разве правдоподобно, чтобы среди стольких людей, частью незнатного происхождения, частью юношей, не считавших нужным скрывать чьи-либо имена, мое имя могло оставаться в тайне? В самом деле, если для освобождения отчизны были нужны вдохновители, когда исполнители были налицо, то неужели побуждать Брутов⁴² к действию пришлось бы мне, когда они оба могли изо дня в день видеть перед собой изображение Луция Брута, а один из них — еще и изображение Агалы? И они, имея таких предков, стали бы искать совета у чужих, а не у своих родных и притом на стороне, а не в своем доме? А Гай Кассий? Он происходит из той ветви рода, которая не смогла стерпеть, уже не говорю — господства, но даже чьей бы то ни было власти⁴³. Конечно, он нуждался во мне как в советчике! Ведь он даже без этих прославленных мужей завершил бы дело в Киликии, у устья Кидна, если бы корабли Цезаря причалили к тому берегу, к какому Цезарь намеревался причалить, а не к противоположному⁴⁴. (27) Неужели Гнея Домиция побудила выступить за восстановление свободы не гибель его отца, прославленного мужа, не смерть дяди, не утрата высокого положения⁴⁵, а мой авторитет? Или это я воздействовал на Гая Требония⁴⁶? Ведь я не осмелился бы даже давать ему советы. Тем большую благодарность должно испытывать государство по отношению к тому, кто поставил свободу римского народа выше, чем дружбу одного человека, и предпочел свергнуть власть, а не разделять ее с Цезарем. Разве моим советам последовал Луций Тиллий Кимвр⁴⁷? Ведь я был особенно восхищен тем, что именно он совершил это деяние, так как я не предполагал, что он его совершит, а восхищен я был по той причине, что он, не помня об оказанных ему милостях, помнил об отчизне. А двое Сервилиев — назвать ли мне их Касками или же Агалами⁴⁸? И они, по твоему мнению, подчинились моему авторитету, а не руководились любовью к государству? Слишком долго перечислять прочих; в том, что они были столь многочисленны, для государства великая честь, для них самих слава.

(XII, 28) Но вспомните, какими словами этот умник обвинил меня. «После убийства Цезаря, — говорит он, — Брут, высоко подняв окровавленный кинжал, тотчас же воскликнул: «Цицерон!» — и поздравил его с восстановлением свободы». Почему именно меня? Не потому ли, что я знал о заговоре? Подумай, не было ли причиной его обращения ко мне то, что он, совершив деяние, подобное деяниям, совершенным мной, хотел видеть меня свидетелем своей славы, в которой он стал моим соперником. (29) И ты, величайший глупец, не понимаешь, что если желать смерти Цезаря (а именно в этом ты меня и обвиняешь) есть преступление, то радоваться его смерти также преступление? В самом деле, какое различие между тем, кто

подстрекает к деянию, и тем, кто его одобряет? Вернее, какое имеет значение, хотел ли я, чтобы оно было совершено, или радуюсь тому, что оно уже совершено? Разве есть хотя бы один человек, — кроме тех, кто радовался его господству, — который бы либо не желал этого деяния, либо не радовался, когда оно совершилось? Итак, виноваты все; ведь все честные люди, насколько это зависело от них, убили Цезаря. Одним не хватило сообразительности, другим — мужества; у третьих не было случая; но желание было у всех. (30) Однако обратите внимание на тупость этого человека или, лучше сказать, животного; ибо он сказал так: «Брут, имя которого я называю здесь в знак моего уважения к нему, держа в руке окровавленный кинжал, воскликнул: «Цицерон!» — из чего следует заключить, что Цицерон был соучастником». Итак, меня, который, как ты подозреваешь, кое-что заподозрил, ты зовешь преступником, а имя того, кто размахивал кинжалом, с которого капала кровь, ты называешь, желая выразить ему уважение. Пусть будет так, пусть эта тупость проявляется в твоих словах. Насколько она больше в твоих поступках и предложениях! Определи, наконец, консул, чем тебе представляется дело Брутов, Гая Кассия, Гнея Домиция, Гая Требония и остальных. Повторяю, проспись и выдохни винные пары. Или, чтобы тебя разбудить, надо приставить к твоему телу факелы, если ты засыпаешь при разборе столь важного дела? Неужели ты никогда не поймешь, что тебе надо раз навсегда решить, кем были люди, совершившие это деяние: убийцами или же борцами за свободу?

(XIII, 31) Удели мне немного внимания и в течение хотя бы одного мгновения подумай об этом, как человек трезвый. Я, который, по своему собственному признанию, являюсь близким другом этих людей, а по твоему утверждению — союзником, заявляю, что середины здесь нет: я признаю, что они, если не являются освободителями римского народа и спасителями государства, хуже разбойников, хуже человекоубийц, даже хуже отцеубийц, если только убить отца отчизны — большая жестокость, чем убить родного отца. А ты, разумный и вдумчивый человек? Как называешь их ты? Если — отцеубийцами, то почему ты всегда упоминал о них с уважением и в сенате, и перед лицом римского народа; почему, на основании твоего доклада сенату, Марк Брут был освобожден от запретов, установленных законами, хотя его не было в Риме больше десяти дней⁴⁹; почему игры в честь Аполлона были отпразднованы с необычайным почетом для Марка Брута⁵⁰; почему Бруту и Кассию были предоставлены провинции⁵¹; почему им приданы квесторы; почему увеличено число их легатов? Ведь все это было решено при твоём посредстве. Следовательно, ты их не называешь убийцами. Из этого вытекает, что ты признаешь их освободителями, коль скоро третье совершенно невозможно. (32) Что с тобой? Неужели я привожу тебя в смущение? Ты, наверное, не понимаешь достаточно ясно, в чем сила этого противопоставления, а между тем мой окончательный вывод вот каков: оправдав их от обвинения в злодеянии, ты тем самым признал их вполне достойными величайших наград. Поэтому я теперь переделаю свою речь. Я напишу им, чтобы они, если кто-нибудь, быть может, спросит, справедливо ли обвинение, брошенное тобой мне, ни в каком случае его не отвергали. Ибо то, что они оставили меня в неведении, пожалуй, может быть нелестным для них самих, а если бы я, приглашенный ими, от участия уклонился, это было бы чрезвычайно позорным для меня. Ибо какое деяние, — о почитаемый нами Юпитер! — совершенное когда-либо, не говорю уже — в этом городе, но и во всех странах, было более важным, более славным, более достойным вечно жить в сердцах людей? И в число людей, участвовавших в принятии этого решения, ты и меня вводишь, как бы во чрево Троянского коня, вместе с руководителями всего дела? Отказываться не стану; даже благодарю тебя, с какой бы целью ты это ни делал. (33) Ибо это настолько важно, что та ненависть, какую ты хочешь против меня вызвать, ничто по сравнению со славой. И право, кто может быть счастливее тех, кто, как ты заявляешь, тобою изгнан и выслан? Какая местность настолько пустынна или настолько дика, что не встретит их приветливо и гостеприимно, когда они к ней приблизятся? Какие люди настолько невежественны, чтобы, взглянув на них, не счесть этого величайшей в жизни наградой? Какие потомки окажутся столь забывчивыми,

какие писатели — столь неблагодарными, что не сделают их славы бессмертной? Смело относи меня к числу этих людей.

(XIV, 34) Но одного ты, боюсь я, пожалуй, не одобришь. Ведь я, будь я в их числе, уничтожил бы в государстве не одного только царя, но и царскую власть вообще; если бы тот стиль⁵² был в моих руках, как говорят, то я, поверь мне, довел бы до конца не один только акт, но и всю трагедию. Впрочем, если желать, чтобы Цезаря убили, — преступление, то подумай, пожалуйста, Антоний, в каком положении будешь ты, который, как очень хорошо известно, в Нарбоне принял это самое решение вместе с Гаем Требонием⁵³. Ввиду твоей осведомленности, Требоний, как мы видели, и задержал тебя, когда убивали Цезаря. Но я — смотри, как я далек от недружелюбия, говоря с тобой, — за эти честные помыслы тебя хвалю; за то, что ты об этом не донес, благодарю; за то, что ты не совершил самого дела, тебя прощаю: для этого был нужен мужчина. (35) Но если бы кто-нибудь привел тебя в суд и повторил известные слова Кассия: «Кому выгодно?»⁵⁴ — смотри, как бы тебе не попасть в затруднительное положение. Впрочем, событие это, как ты говорил, пошло на пользу всем тем, кто не хотел быть в рабстве, а особенно тебе; ведь ты не только не в рабстве, но даже царствуешь; ведь ты в храме Опе⁵⁵ освободился от огромных долгов; ведь ты на основании одних и тех же записей растратил огромные деньги; ведь к тебе из дома Цезаря были перенесены такие огромные средства; ведь у тебя в доме есть доходнейшая мастерская для изготовления подложных записей и собственноручных заметок и ведется гнуснейший рыночный торг землями, городами, льготами, податями. (36) И в самом деле, что, кроме смерти Цезаря, могло бы тебе помочь при твоей нищете и при твоих долгах? Ты, кажется, несколько смущен. Неужели ты в душе побаиваешься, что тебя могут обвинить в соучастии? Могу тебя успокоить: никто никогда этому не поверит; не в твоём это духе — оказывать услугу государству; у него есть прославленные мужи, зачинатели этого прекрасного деяния. Я говорю только, что ты рад ему; в том, что ты его совершил, я тебя не обвиняю. Я ответил на важнейшие обвинения; теперь и на остальные надо ответить.

(XV, 37) Ты поставил мне в вину мое пребывание в лагере Помпея⁵⁶ и мое поведение в течение всего того времени. Если бы именно тогда, как я сказал, возымели силу мой совет и авторитет, ты был бы теперь нищим, мы были бы свободны, государство не лишилось бы стольких военачальников и войск. Ведь я, предвидя события, которые и произошли в действительности, испытывал, признаюсь, такую глубокую печаль, какую испытывали бы и другие честнейшие граждане, если бы предвидели то же самое, что я. Я скорбел, отцы-сенаторы, скорбел из-за того, что государство, когда-то спасенное вашими и моими решениями, вскоре должно было погибнуть. Но я не был столь неопытен и несведущ, чтобы потерять мужество из-за любви к жизни, когда жизнь, продолжаясь, грозила бы мне всяческими тревогами, между тем как ее утрата избавила бы меня от всех тягот. Но я хотел, чтобы остались в живых выдающиеся мужи, светила государства — столь многочисленные консуляры, претории, высокочтимые сенаторы, кроме того, весь цвет знати и юношества, а также полки честнейших граждан: если бы они остались в живых, мы даже при несправедливых условиях мира (ибо любой мир с гражданами казался мне более полезным, чем гражданская война) ныне сохранили бы свой государственный строй. (38) Если бы это мнение возобладало и если бы те люди, о чьей жизни я заботился, увлеченные надеждой на победу, не воспротивились более всего именно мне, то ты, — опускаю прочее — несомненно, никогда не остался бы в этом сословии, вернее, даже в этом городе. Но, скажешь ты, мои высказывания, несомненно, отталкивали от меня Гнея Помпея. Однако кого любил он больше, чем меня? С кем он беседовал и обменивался мнениями чаще, чем со мной? В этом, действительно, было что-то великое — люди, несогласные насчет важнейших государственных дел, неизменно поддерживали дружеское общение. Я понимал его чувства и намерения, он — мои. Я прежде всего заботился о благополучии граждан, дабы мы могли впоследствии позаботиться об их достоинстве; он же заботился, главным образом, об их

достоинстве в то время. Но так как у каждого из нас была определенная цель, то именно потому наши разногласия и можно было терпеть. (39) Но что этот выдающийся и, можно сказать, богами вдохновленный муж думал обо мне, знают те, кто после его бегства из-под Фарсала сопровождал его до Пафа. Он всегда упоминал обо мне только с уважением, упоминал, как друг, испытывая глубокую тоску и признавая, что я был более предусмотрителен, а он больше надеялся на лучший исход. И ты смеешь нападать на меня от имени этого мужа, причем меня ты признаешь его другом, а себя покупщиком его конфискованного имущества!

(XVI) Но оставим в стороне ту войну, в которой ты был чересчур счастлив. Не стану отвечать тебе даже по поводу остроумия, которые я, как ты сказал, позволил себе в лагере⁵⁷. Пребывание в этом лагере было преисполнено тревог; однако люди даже и в трудные времена все же, оставаясь людьми, порой хотят развлечься. (40) Но то, что один человек ставит мне в вину и мою печаль, и мои остроумия, с убедительностью доказывает, что я проявил умеренность и в том, и в другом.

Ты заявил, что я не получал никаких наследств⁵⁸. О, если бы твое обвинение было справедливым! У меня осталось бы в живых больше друзей и близких. Но как это пришло тебе в голову? Ведь я, благодаря наследству, полученным мной, зачел себе в приход больше 20 миллионов сестерциев. Впрочем, признаю, что в этом ты счастливее меня. Меня не сделал своим наследником ни один из тех, кто в то же время не был бы моим другом, так что с этой выгодой (если только таковая была) было связано чувство скорби; тебя же сделал своим наследником человек, которого ты никогда не видел, — Луций Рубрий из Касина. (41) И в самом деле, смотри, как тебя любил тот, о ком ты даже не знаешь, белолицым ли он был или смуглым. Он обошел сына своего брата Квинта Фуфия, весьма уважаемого римского всадника и своего лучшего друга; имени того, кого он всегда объявлял во всеуслышание своим наследником, он в завещании даже не назвал; тебя, которого он никогда не видел или, во всяком случае, никогда не посещал для утреннего приветствия, он сделал своим наследником. Скажи мне, пожалуйста, если это тебя не затруднит, каков собой был Луций Турселий, какого был он роста, из какого муниципия, из какой трибы. «Я знаю о нем, — скажешь ты, — одно: какие имения у него были». Итак, он сделал тебя своим наследником, а своего брата лишил наследства? Кроме того, Антоний, насильственным путем вышвырнув настоящих наследников, захватил много имущества совершенно чужих ему людей, словно наследником их был он. (42) Впрочем, больше всего был я изумлен вот чем: ты осмелился упомянуть о наследстве, когда ты сам не мог вступить в права наследства после отца.

(XVII) И для того, чтобы собрать эти обвинения, ты, безрассуднейший человек, в течение стольких дней⁵⁹ упражнялся в декламации, находясь в чужой усадьбе? Впрочем, как раз ты, как нередко поговаривают самые близкие твои приятели, декламируешь ради того, чтобы выдохнуть винные пары, а не для того, чтобы придать остроумию своему уму. Но при этом ты, ради шутки, прибегаешь к помощи учителя, которого ты и твои друзья-пьянчужки голосованием своим признали ритором, которому ты позволил высказывать даже против тебя все, что захочет. Он, конечно, человек остроумный, но ведь и невелик труд отпускать шутки на твой счет и на счет твоего окружения. Взгляни, однако, каково различие между тобой и твоим дедом⁶⁰: он обдуманно высказывал то, что могло бы принести пользу делу; ты, не подумав, болтаешь о том, что никакого отношения к делу не имеет. (43) А сколько заплачено риторам! Слушайте, слушайте, отцы-сенаторы, и узнайте о ранах, нанесенных государству. Две тысячи югеров в Леонтинской области, притом свободные от обложения, предоставил ты риторам Сексту Клодию, чтобы за такую дорогую цену, за счет римского народа, научиться ничего не смыслить. Неужели, величайший наглец, также и это совершено на основании записей Цезаря? Но я буду в другом месте говорить о леонтинских и кампанских землях, которые Марк Антоний, изъяв их у государства, осквернил, разместив на них тяжко

опозорившихся владельцев. Ибо теперь я, так как в ответ на его обвинения сказано уже достаточно, должен сказать несколько слов о нем самом; ведь он берется нас переделывать и исправлять. Всего я вам выкладывать не стану, дабы я, если мне еще не раз придется вступать в решительную борьбу, — как это и будет — всегда мог рассказать вам что-нибудь новенькое, а множество его пороков и проступков предоставляет мне эту возможность весьма щедро.

(XVIII, 44) Так не хочешь ли ты, чтобы мы рассмотрели твою жизнь с детских лет? Мне думается, будет лучше всего, если мы взглянем на нее с самого начала. Не помнишь ли ты, как, нося претексту⁶¹, ты промотал все, что у тебя было? Ты скажешь: это была вина отца. Согласен; ведь твое оправдание преисполнено сыновнего чувства. Но вот в чем твоя дерзость: ты уселся в одном из четырнадцати рядов, хотя, в силу Росциева закона⁶² для мотов назначено определенное место, даже если человек утратил свое имущество из-за превратности судьбы, а не из-за своей порочности. Потом ты надел мужскую тогу, которую ты тотчас же сменил на женскую. Сначала ты был шлюхой, доступной всем; плата за позор была определенной и не малой, но вскоре вмешался Курион, который отвлек тебя от ремесла шлюхи и — словно надел на тебя столу⁶³ — вступил с тобой в постоянный и прочный брак. (45) Ни один мальчик, когда бы то ни было купленный для удовлетворения похоти, в такой степени не был во власти своего господина, в какой ты был во власти Куриона. Сколько раз его отец выталкивал тебя из своего дома! Сколько раз ставил он сторожей, чтобы ты не мог переступить его порога, когда ты все же, под покровом ночи, повинувшись голосу похоти, привлеченный платой, спускался через крышу⁶⁴! Дольше терпеть такие гнусности дом этот не мог. Не правда ли, я говорю о вещах, мне прекрасно известных? Вспомни то время, когда Курион-отец лежал скорбя на своем ложе, а его сын, обливаясь слезами, бросившись мне в ноги, поручал тебя мне, просил меня замолвить за него слово отцу, если он попросит у отца 6 миллионов сестерциев; ибо сын, как он говорил, обязался заплатить за тебя эту сумму; сам он, горя любовью, утверждал, что он, не будучи в силах перенести тоску из-за разлуки с тобой, удалится в изгнание. (46) Какие большие несчастья этого блистательного семейства я в это время облегчил, вернее, отвратил! Отца я убедил долги сына заплатить, выкупить на средства семьи этого юношу, подающего надежды⁶⁵, и, пользуясь правом и властью отца, запретить ему, не говорю уже — быть твоим приятелем, но с тобой даже видеться. Памятуя, что все это произошло благодаря мне, неужели ты, если бы не полагался на мечи тех, кого мы здесь видим, осмелился бы нападать на меня?

(XIX, 47) Но оставим в стороне блуд и гнусности; есть вещи, о которых я, соблюдая приличия, говорить не могу, а ты, конечно, можешь и тем свободнее, что ты позволял делать с тобой такое, что даже твой недруг, сохраняя чувство стыда, упоминать об этом не станет. Но теперь взгляните, как протекала его дальнейшая жизнь, которую я бегло опишу. Ибо я спешу обратиться к тому, что он совершил во время гражданской войны, в пору величайших несчастий для государства, и к тому, что он совершает изо дня в день. Хотя многое известно вам гораздо лучше, чем мне, я все же прошу вас выслушать меня внимательно, что вы и делаете. Ибо в таких случаях не только сами события, но даже воспоминание о них должно возмущать нашу душу; однако не будем долго задерживаться на том, что произошло в этот промежуток времени, чтобы не прийти слишком поздно к рассказу о том, что произошло за последнее время.

(48) Во время своего трибуната Антоний, который твердит о благодеяниях, оказанных им мне, был близким другом Клодия. Он был его факелом при всех поджогах, а в доме самого Клодия он уже тогда кое-что затеял. О чем я говорю, он сам прекрасно понимает. Затем он, наперекор суждению сената, вопреки интересам государства и религиозным запретам, отправился в Александрию⁶⁶; но его начальником был Габиний, все, что бы он ни совершил вместе с ним, считалось вполне законным. Каково же было тогда его возвращение оттуда и как он вернулся? Из Египта он отправился в Дальнюю Галлию раньше, чем возвратиться в свой дом. Но в какой дом? В ту пору, правда, каждый занимал свой собственный дом, но твоего не

было нигде. «Дом?» — говорю я? Да было ли на земле место, где ты мог бы ступить ногой на свою землю, кроме одного только Мисена, которым ты владел вместе со своими товарищами по предприятию, словно это был Сисапон⁶⁷?

(XX, 49) Ты приехал из Галлии добиваться квестуры. Посмей только сказать, что ты приехал к своей матери⁶⁸ раньше, чем ко мне. Я уже до этого получил от Цезаря письмо с просьбой принять твои извинения; поэтому я тебе не дал даже заговорить о примирении. Впоследствии ты относился ко мне с уважением и получил от меня помощь при соискании квестуры. Как раз в это время ты, при одобрении со стороны римского народа, и попытался убить Публия Клодия на форуме; хотя ты и пытался сделать это по своему собственному почину, а не по моему наущению, все же ты открыто заявлял, что ты — если не убьешь его — никогда не загладишь обид, которые ты нанес мне. Поэтому меня изумляет, как же ты утверждаешь, что Милон совершил свой известный поступок по моему наущению; между тем, когда ты сам предлагал оказать мне такую же услугу, я никогда тебя к этому не побуждал; впрочем, если бы ты упорствовал в своем намерении, я предпочел бы, чтобы это деяние принесло славу тебе, а не было совершено в угоду мне. (50) Ты был избран в квесторы. Затем немедленно, без постановления сената, без метания жребия⁶⁹, без издания закона, ты помчался к Цезарю; ведь ты, находясь в безвыходном положении, считал это единственным на земле прибежищем от нищеты, долгов и беспутства. Насытившись подачками Цезаря и своими грабежами, — если только можно насытиться тем, что тотчас же извергаешь, — ты, будучи в нищете, прилетел, чтобы быть трибуном, дабы, если сможешь, уподобиться в этой должности своему «супругу»⁷⁰.

(XXI) Послушайте, пожалуйста, теперь не о тех грязных и необузданных поступках, которыми он опозорил себя и свой дом, но о том, что он нечестиво и преступно совершил в ущерб нам и нашему достоянию, то есть в ущерб государству в целом; вы поймете, что его злодеяние и было началом всех зол.

(51) Когда вы, в консульство Луция Лентула и Гая Марцелла⁷¹, в январские календы хотели поддержать пошатнувшееся и, можно сказать, близкое к падению государство и позаботиться о самом Гае Цезаре, если он одумается, тогда Антоний противопоставил вашим планам свой проданный и переданный им в чужое распоряжение трибунат и подставил свою шею под ту секиру, под которой многие, совершившие меньшие преступления, пали. Это о тебе, Марк Антоний, невредимый сенат, когда столько светил еще не было погашено, принял постановление, какое по обычаю предков принимали о враге, облаченном в тогу⁷². И ты осмелился перед лицом отцов-сенаторов выступить против меня с речью, после того как это сословие меня признало спасителем государства, а тебя — его врагом? Упомянуть о твоём злодеянии перестали, но память о нем не изгладилась. Пока будет существовать человеческий род и имя римского народа, — а это, с твоего позволения, будет всегда — губительной будут называть твою памятную нам интерцессию⁷³. (52) Разве то решение, которое сенат пытался провести, было пристрастным или необдуманном? А между тем ты один, еще совсем молодой человек, помешал всему нашему сословию принять постановление, касавшееся благополучия государства, причем ты сделал это не один раз, а делал часто и не согласился идти ни на какие переговоры относительно суждения сената⁷⁴. А о чем другом шла речь, как не о том, чтобы ты не стремился к полному уничтожению и ниспровержению государственного строя? После того, как на тебя не смогли повлиять ни первые среди граждан люди, обращавшиеся к тебе с просьбами, ни люди, старшие тебя годами, тебя предостерегавшие, ни собравшийся в полном составе сенат, который вел с тобой переговоры относительно твоего голоса, уже запроданного и отданного тобой, только тогда тебе после многих сделанных ранее попыток к примирению и была, по необходимости, нанесена такая рана, какая до тебя была нанесена лишь немногим, из которых не уцелел ни один. (53) Тогда-то наше сословие и вручило консулам и другим лицам,

облеченным империем и властью, для действий против тебя оружие, от которого ты не спасся бы, если бы не присоединился к вооруженным силам Цезаря.

(XXII) Это ты, Марк Антоний, ты, повторяю, был тем, кто первый подал Гаю Цезарю, стремившемуся ниспровергнуть весь порядок, повод для объявления войны отчизне. И правда, на что иное ссылался Цезарь? Какую другую причину приводил он для своего безумнейшего решения и поступка⁷⁵, как не ту, что интерцессией пренебрегли, что право трибунов попропано, что сенатом ограничен в своих полномочиях Антоний? Я уже не говорю о том, как это ложно, как это неубедительно, тем более что вообще ни у кого не может быть законного основания браться за оружие против отечества. Но о Цезаре — ни слова; а вот ты, во всяком случае, должен признать, что предлогом для самой губительной войны оказался ты сам. (54) О, сколь ты жалок, если понимаешь, еще более жалок, если не понимаешь, что одно только будет внесено в летописи, одно будет сохранено в памяти, одного только даже потомки наши во все века никогда не забудут: того, что консулы были из Италии изгнаны и вместе с ними Гней Помпей, украшение и светило державы римского народа. Все консуляры, у которых сохранилось еще достаточно сил, чтобы перенести это потрясение и это бегство, все преторы, претории, народные трибуны, значительная часть сената, вся молодежь, словом, все государство было выброшено и изгнано из места, где оно пребывало. (55) Подобно тому как в семенах заложена основа возникновения деревьев и растений, так семенем этой горестной войны был ты. Вы скорбите о том, что три войска римского народа истреблены — истребил их Антоний. Вы не досчитываетесь прославленных граждан — и их отнял у нас Антоний. Авторитет нашего сословия ниспровергнут — ниспроверг его Антоний. Словом, если рассуждать строго, все то, что мы впоследствии увидели (а каких только бедствий не видели мы?), мы отнесем на счет одного только Антония. Как Елена для троянцев, так Марк Антоний для нашего государства стал причиной войны, мора и гибели. Остальное время его трибуната было подобным его началу. Он совершил все то, что сенат старался предотвратить, пока государство было невредимо.

(XXIII, 56) Но я все же сообщу вам еще об одном его преступлении в ряду прочих: он восстановил в гражданских правах многих людей, утративших их; о своем дяде⁷⁶ он при этом даже не упомянул. Если он строг, то почему не ко всем? Если сострадателен, то почему не к своим родным? Но о других я не говорю. А вот Лициния Дентикула, осужденного за игру в кости⁷⁷, своего товарища по игре, он восстановил в правах, словно с осужденным играть нельзя; но он сделал это, чтобы свой проигрыш в игре покрыть милостью в виде издания закона. Какой довод в пользу его восстановления в правах ты привел римскому народу? Видимо, Лициний был привлечен к суду заочно, а приговор был вынесен без слушания дела? Может быть, суда на основании закона об игре не было; может быть, к подсудимому была применена вооруженная сила? Наконец, может быть, как говорили при суде над твоим дядей, приговор был куплен за деньги? Ничего подобного. Но мне, пожалуй, скажут: он был честным мужем и достойным гражданином. Правда, это совершенно не относится к делу, но я, коль скоро быть осужденным — теперь не порок, наверное простил бы его. Но неужели не признается вполне открыто в своем пристрастии тот, кто восстановил в правах величайшего негодяя, который без всякого стеснения играл в кости даже на форуме и был осужден на основании закона, запрещавшего игру?

(57) А во время того же самого трибуната, когда Цезарь, отправляясь в Испанию⁷⁸, отдал Марку Антонию Италию, чтобы тот топтал ее ногами, в каком виде он разъезжал по стране, как посещал муниципии! Знаю, что касаюсь событий, молва о которых у всех на устах, и что все, о чем я говорю и буду говорить, те, кто тогда был в Италии, знают лучше, чем я; ведь меня в Италии не было⁷⁹. Но я все же отмечу отдельные события, хотя речь моя никак не сможет охватить все то, что знаете вы. И в самом деле, слыхано ли, чтобы на земле когда-либо были возможны такие гнусности, такая подлость, такой позор? (XXIV, 58) Разъезжал на

двуколке народный трибун; ликторы, украшенные лаврами, шли впереди⁸⁰; между ними в открытых носилках несли актрису, которую почтенные жители муниципиев, вынужденные выходить из городов навстречу ей, приветствовали, называя ее не ее известным сценическим именем, а Волумнией⁸¹. За ликторами следовала повозка со сводниками — негоднейшие спутники! Подвергшаяся такому унижению мать Антония сопровождала подругу своего порочного сына, словно свою невестку. О, несчастная женщина, чье чрево породило эту пагубу! Следы этих гнусностей он оставил во всех муниципиях, префектурах, колониях, словом, во всей Италии.

(59) Что касается его остальных поступков, отцы-сенаторы, то порицать их — дело, несомненно, трудное и щекотливое. Он был на войне, упился кровью граждан, совершенно непохожих на него, был счастлив, если на пути преступления вообще возможно счастье. Но так как мы хотим, чтобы интересы ветеранов были обеспечены, хотя положение солдат отличается от твоего (они за своим военачальником последовали, а ты добровольно к нему примкнул), все же я, дабы ты не мог вызвать в них чувства ненависти ко мне, о характере войны говорить не стану. Победителем возвратился ты из Фессалии в Брундисий с легионами. Там ты не убил меня. Сколь великое благодеяние! Согласен: это было в твоей власти. Впрочем, среди тех, кто был вместе с тобой, не было человека, который бы не считал нужным меня пощадить; (60) ибо любовь отечества ко мне так велика, что я был неприкосновенным даже и для ваших легионов, так как они помнили, что мной оно было спасено. Но допустим, что ты дал мне то, чего ты у меня не отнял, что я обязан тебе жизнью, так как ты меня ее не лишил. Но неужели я, выслушивая все твои оскорбления, мог хранить в памяти это твое благодеяние так, как я пытался хранить его ранее, тем более, что тебе, видимо, придется услышать нижеследующее?

(XXV, 61) Ты приехал в Брундисий, вернее, попал на грудь и в объятия своей милой актрисы. Что же? Разве я лгу? Как жалок человек, когда не может отрицать того, в чем сознаться — величайший позор! Если тебе не было стыдно перед муниципиями, то неужели тебе не было стыдно хотя бы перед войском ветеранов? В самом деле, какой солдат не видел ее в Брундисии? Кто из них не знал, что она ехала тебе навстречу много дней, чтобы поздравить тебя? Кто из них не почувствовал с прискорбием, что слишком поздно понял, за каким негодяем последовал? (62) И снова поездка по Италии с той же спутницей; в городах жестокое и безжалостное размещение солдат на постой, в Риме омерзительное расхищение золота и серебра, особенно запасов вина. В довершение всего Антоний, без ведома Цезаря, находившегося тогда в Александрии, но благодаря его приятелям, был назначен начальником конницы⁸². Тогда Антоний и решил, что для него вполне пристойно вступить в близкие отношения с Гипшием и передать мимическому актеру Сергию лошадей, приносящих доход⁸³; тогда он и выбрал себе для жилья не этот вот дом, который он теперь с трудом удерживает за собой, а дом Марка Писона⁸⁴. К чему мне сообщать вам о его распоряжениях, о грабежах, о раздачах наследственных имуществ, о захвате их? Антония к этому побуждала его нищета, обратиться ему было некуда; ведь ему тогда еще не достались такие большие наследства от Луция Рубрия и Луция Турселия. Он еще не оказался неожиданным наследником Гнея Помпея и многих других людей, находившихся в отсутствии⁸⁵. Ему приходилось жить по обычаю разбойников и иметь столько, сколько он мог награть.

(63) Но эти его поступки, которые, как они ни бесчестны, все же свидетельствуют о некотором мужестве, мы опустим; поговорим лучше о его безобразнейшей распущенности. На свадьбе у Гиппия ты, обладающий такой широкой глоткой, таким крепким сложением, таким мощным телом, достойным гладиатора, влил в себя столько вина, что тебе на другой день пришлось извергнуть его на глазах у римского народа. Как противно не только видеть это, но и об этом слышать! Если бы это случилось с тобой во время пира, — ведь огромный размер твоих кубков нам хорошо известен — кто не признал бы этого срамом? Но нет, в собрании

римского народа, исполняя свои должностные обязанности, начальник конницы, для которого даже рыгнуть было бы позором, извергая куски пищи, распространявшие запах вина, замарал переднюю часть своей тоги и весь трибунал! Но он сам признает, что это относится к его грязным поступкам. Перейдем к более блистательным.

(XXVI, 64) Цезарь возвратился из Александрии счастливый, как казалось, по крайней мере, ему; хотя, по моему разумению, никто, будучи врагом государства, не может быть счастлив. Когда перед храмом Юпитера Статора было водружено копьё⁸⁶, о продаже имущества Гнея Помпея, — горе мне! ибо, хотя и иссякли слезы, но сердце мое по-прежнему терзается скорбью, — да, о продаже имущества Гнея Помпея Великого беспощаднейшим голосом объявил глашатай! И только в этом одном случае граждане, забыв о своем рабстве, тяжело вздохнули и, хотя их сердца и были поработаны, так как в то время все было охвачено страхом, вздохи римского народа все же оставались свободными. Когда все напряженно ожидали, кто же будет столь нечестив, столь безумен, столь враждебен богам и людям, что дерзнет приступить к этой злодейской покупке на торгах, то не нашлось никого, кроме Антония, хотя около этого копьё стояло так много людей, посягавших на что угодно. Нашелся один только человек, дерзнувший на то, от чего, несмотря на свою дерзкую отвагу, бежали и отшатнулись все прочие. (65) Значит, тебя охватило такое оупение, вернее, такое бешенство, что ты при своем знатном происхождении, выступая покупателем на торгах и притом покупателем именно имущества Помпея, не знал, что ты проклят римским народом, что ты ненавистен ему, что все боги и все люди тебе недруги и будут ими всегда? А как нагло этот кутила тотчас же захватил себе имущество того мужа, благодаря чьей доблести римский народ стал для народов чужеземных более грозным, а благодаря справедливости — более любимым!

(XXVII) Итак, когда он вдруг набросился на имущество этого мужа, он был вне себя от радости, как действующее лицо из мима⁸⁷, вчерашний нищий, который неожиданно стал богачом. Но, как говорится, не помню, у какого поэта, —

«Что добыто было дурно, дурно то истратится⁸⁸».

(66) Совершенно невероятно и чудовищно то, как он в течение немногих, не скажу — месяцев, а дней пустил на ветер такое большое имущество. Были огромные запасы вина, очень много прекрасного чеканного серебра, ценные ткани, повсюду много превосходной и великолепной утвари, принадлежавшей человеку, жившему если и не в роскоши, то все же в полном достатке. В течение немногих дней от всего этого ничего не осталось. (67) Какая Харибда⁸⁹ так прожорлива? Что я говорю — Харибда? Если она и существовала, то ведь это было только животное и притом одно. Даже Океан⁹⁰, клянусь богом верности, едва ли мог бы так быстро поглотить так много имущества, столь разбросанного, расположенного в местах, столь удаленных друг от друга. Для Антония не существовало ни запоров, ни печатей, ни записей. Целые склады вина приносились в дар величайшим негодьям. Одно расхищали актеры, другое — актрисы. Дом был набит игроками, переполнен пьяными. Пили дни напролет и во многих местах. При игре в кости часто бывали и проигрыши; ведь он не всегда удачлив. В каморках рабов можно было видеть ложа, застланные пурпурными покрывалами Гнея Помпея. Поэтому не удивляйтесь, что это имущество было растрачено так быстро. Такая испорченность смогла бы быстро сожрать не только имущество одного человека, даже такое большое, как это, но и города и царства. (68) Но ведь он, скажут нам, захватил также и дом и загородное имение. О, неслыханная дерзость! И ты даже осмелился войти в этот дом, переступить этот священный порог, показать свое лицо величайшего подлеца богам-пенатам этого дома? В доме, на который долго никто не смел и взглянуть, мимо которого никто не мог пройти без слез, в этом доме тебе не стыдно так долго жить? Ведь в нем, хотя ты ничего не понимаешь, ничто не может быть тебе приятно.

(XXVIII) Или ты всякий раз, как в вестибуле глядишь на ростры⁹¹, думаешь, чтоходишь в свой собственный дом? Быть не может! Будь ты даже совсем лишен разума, лишен чувства (а ты именно таков), ты и себя, и свои качества, и своих сторонников все же знаешь. И я, право, не верю, чтобы ты — наяву ли или во сне — когда-либо мог быть спокоен в душе. Как бы ты ни упился вином, как бы безрассуден ты ни был (а ты именно таков), ты, всякий раз как перед тобой явится образ этого выдающегося мужа, неминуемо должен в ужасе пробуждаться от сна и впадать в бешенство, часто даже наяву. (69) Мне жаль самих стен и кровли этого дома. В самом деле, что когда-либо видел этот дом, кроме целомудренных поступков, проистекавших из самых строгих нравов и самого честного образа мыслей? Ведь муж этот, отцы-сенаторы, как вы знаете, стяжал столь же великую славу за рубежом, сколь искреннее восхищение на родине, его действия в чужих странах принесли ему не большую хвалу, чем его домашний быт. И в его доме в спальнях — непотребство, в столовых — харчевня! Впрочем, Антоний это отрицает. Не спрашивайте его, он стал порядочным человеком. Своей знаменитой актрисе он велел забрать ее вещи, на основании законов Двенадцати таблиц отобрал у нее ключи, выпроводил ее⁹². Какой он выдающийся гражданин отныне, сколь уважаемый! Ведь за всю его жизнь из всех его поступков наибольшего уважения заслуживает его «развод» с актрисой. (70) А как часто употребляет он выражение: «И консул и Антоний!» Это означает: «Консул и бесстыднейший человек, консул и величайший негодяй». И право, чем другим является Антоний? Если бы это имя само по себе было связано с достоинством, то твой дед, не сомневаюсь, в свое время называл бы себя консулом и Антонием. Но он ни разу так себя не назвал. Так мог бы называть себя также и мой коллега, твой дядя, если только не предположить, что лишь ты один — Антоний.

Но я не стану говорить о твоих проступках, не относящихся к той твоей деятельности, которой ты истерзал государство; возвращаясь к твоей непосредственной роли, то есть к гражданской войне, возникшей, вызванной, начатой твоими стараниями.

(XXIX, 71) В этой войне ты — по трусости и из-за своих любовных дел — не участвовал. Ты отведал крови граждан, вернее, упился ею. В Фарсальском сражении ты был в первых рядах⁹³. Луция Домиция, прославленного и знатнейшего мужа, ты убил, а многих бежавших с поля битвы, которым Цезарь, быть может, сохранил бы жизнь, — подобно тому как он сохранил ее некоторым другим, — ты безжалостно преследовал и изрубил. По какой же причине ты, совершив так много столь великих деяний, не последовал за Цезарем в Африку — тем более что война еще далеко не была закончена? Какое же место занял ты при самом Цезаре по его возвращении из Африки? Кем ты был? Тот, у кого ты, в бытность его императором, был квестором, а когда он стал диктатором, — начальником конницы, зачинщиком войны, подстрекателем к жестокости, участником в дележе военной добычи, а в силу завещания, как ты сам говорил, был сыном, именно он потребовал от тебя уплаты денег, которые ты был должен за дом, за загородное имение, за все, что купил на торгах⁹⁴. (72) Сначала ты ответил прямо-таки свирепо и — пусть тебе не кажется, что я во всем против тебя, — говорил, можно сказать, разумно и справедливо: «Это от меня Гай Цезарь требует денег? Почему именно он от меня, когда потребовать их от него мог бы я? Разве он без моего участия победил? Да он этого даже и не мог сделать. Это я дал ему предлог для гражданской войны; это я внес пагубные законы⁹⁵, это я пошел войной на консулов и императоров римского народа, на сенат и римский народ, на богов наших отцов, на алтари и очаги, на отечество. Неужели Цезарь одержал победу только для себя одного? Если преступления совершены сообща, то почему же военной добыче не быть общей?» Ты имел право требовать, но что из этого? Цезарь был сильнее тебя. (73) Решительно отвергнув твои жалобы, он прислал солдат к тебе и к твоим поручителям, как вдруг ты представил тот знаменитый список⁹⁶. Как смеялись люди над тем, что список был таким длинным, имущество таким большим и разнообразным, а между тем в составе его, кроме участка земли на Мисене, не было ничего такого, что распродающий все это с торгов мог бы назвать своей собственностью. Что касается самих

торгов, то зрелище было поистине жалким: ковры Помпея в небольшом количестве и то в пятнах, несколько измятых серебряных сосудов, принадлежавших ему же, оборванные рабы, так что нам было больно видеть эти жалкие остатки его имущества. (74) Все же наследники Луция Рубрия⁹⁷ запретили, в силу распоряжения Цезаря, эти торги. Негодяй был в затруднительном положении, не знал, куда ему обратиться. Более того, именно в это время в доме Цезаря, как говорят, был схвачен человек с кинжалом, подосланный Антонием, на что Цезарь заявил жалобу в сенате, открыто и резко выступив против тебя. Потом Цезарь выехал в Испанию, на несколько дней продлив тебе, ввиду твоей бедности, срок уплаты. Даже тогда ты за ним не последовал. Такой хороший гладиатор и так скоро получил деревянный меч⁹⁸? Итак, если Антоний, защищая свои интересы, то есть свое благополучие, был столь труслив, то стоит ли его бояться?

(XXX, 75) Все же он, наконец, выехал в Испанию, но, по его словам, не смог туда безопасно добраться. Как же, в таком случае, туда добрался Долабелла? Ты не должен был становиться на ту сторону или же, став, должен был биться до конца. Цезарь трижды не на жизнь, а на смерть сразился с гражданами: в Фессалии, в Африке, в Испании. Во всех этих битвах Долабелла участвовал⁹⁹; в сражении в Испании он даже был ранен. Если хочешь знать мое мнение, то я бы предпочел, чтобы этого не было; но все же, хотя решение его с самого начала заслуживает порицания, похвальна его непоколебимость. А ты каков? Сыновья Гнея Помпея тогда старались прежде всего вернуться на родину. Оставим это; это касалось обеих сторон; но, кроме того, они старались вернуть себе богов своих отцов, алтари, очаги, домашнего лара — все то, что захватил ты. В то время как этого добивались с оружием в руках те, кому оно принадлежало на законном основании, кому (хотя можно ли говорить о справедливости среди величайших несправедливостей?) по справедливости следовало сражаться против сыновей Гнея Помпея? Кому? Тебе, скупщику их имущества! (76) Или может быть, пока ты в Нарбоне блевал на столы своих гостеприимцев, Долабелла должен был сражаться за тебя в Испании?

А каково было возвращение Антония из Нарбона! И он еще спрашивал меня, почему я так неожиданно повернул назад, прервав свою поездку! Недавно я объяснил вам, отцы-сенаторы, причину своего возвращения¹⁰⁰. Я хотел, если бы только смог, еще до январских календ принести пользу государству. Но ты спрашивал, каким образом я возвратился. Во-первых, при свете дня, а не потемках; во-вторых, в башмаках и тоге, а не в галльской обуви и дорожном плаще¹⁰¹. Но ты все-таки на меня смотришь и, видимо, с раздражением. Право, ты теперь помирился бы со мной, если бы знал, как мне стыдно за твою подлость, которой сам ты не стыдишься. Из всех гнусностей, совершенных всеми людьми, я не видел ни одной, не слышал ни об одной, более позорной. Ты, вообразивший себя начальником конницы, ты, добивавшийся на ближайший год, вернее, выпрашивавший для себя консульство, бежал в галльской обуви и в дорожном плаще через муниципии и колонии Галлии, после пребывания в которой мы обычно добивались консульства; да, тогда консульства добивались, а не выпрашивали.

(XXXI, 77) Но обратите внимание на его низость. Приехав приблизительно в десятом часу в Красные Скалы¹⁰², он укрылся в какой-то корчме и, прячась там, пропьянствовал до вечера. Быстро подъехав к Риму на тележке, он явился к себе домой, закутав себе голову. Привратник ему: «Ты кто?» — «Письмоносец от Марка». Его тут же привели к той, ради кого он приехал, и он передал ей письмо. Когда она, плача, читала письмо (ибо содержание этого любовного послания было таково: у него-де впредь ничего не будет с актрисой, он-де отказался от любви к той и перенес всю свою любовь на эту женщину), когда она разрыдалась, этот сострадательный человек не выдержал, открыл лицо и бросился ей на шею. О, ничтожный человек! Ибо что еще можно сказать? Ничего более подходящего сказать не могу. Итак, именно для того, чтобы она неожиданно увидела тебя, Катамита¹⁰³, когда ты вдруг откроешь

себе лицо, ты и перепугал ночью Рим и на много дней навел страх на Италию¹⁰⁴? (78) Но дома у тебя было, по крайней мере, оправдание — любовь; вне дома — нечто более позорное: опасение, что Луций Планк продаст имения твоих поручителей¹⁰⁵. Но когда народный трибун предоставил тебе слово на сходке, ты, ответив, что приехал по своим личным делам, дал народу повод изощряться на твой счет в остроумии. Но я говорю чересчур много о пустяках; перейдем к более важному.

(XXXII) Когда Гай Цезарь возвращался из Испании¹⁰⁶, ты очень далеко выехал навстречу ему. Ты быстро съездил в обе стороны, дабы он признал тебя если и не особенно храбрым, то все же очень рьяным. Ты — уж не знаю как — вновь сделался близким ему человеком. Вообще у Цезаря была такая черта: если он знал, что кто-нибудь совсем запутался в долгах и нуждается, то он (если только знал этого человека как негодяя и наглеца) очень охотно принимал его в число своих близких. (79) И вот, когда ты этими качествами приобрел большое расположение Цезаря, было приказано объявить о твоём избрании в консулы и притом вместе с ним самим. Я ничуть не сокрушаюсь о Долабелле, которого тогда побудили добиваться консульства, подбили на это — и насмеялись над ним. Кто же не знает, как велико было при этом вероломство по отношению к Долабелле, проявленное вами обоими? Цезарь побудил его к соисканию консульства, нарушил данные ему обещания и обязательства и позаботился о себе; ты же подчинил свою волю вероломству Цезаря. Наступают январские календы; нас собирают в сенате. Долабелла напал на Антония и говорил гораздо более обстоятельно и с гораздо большей подготовкой, чем это теперь делаю я. (80) Всеблагие боги! Но что, в своем гневе, сказал Антоний! Прежде всего, когда Цезарь обещал, что он до своего отъезда повелит, чтобы Долабелла стал консулом (и еще отрицают, что он был царем, он, который всегда и поступал, и говорил подобным образом¹⁰⁷!), и вот, когда Цезарь так сказал, этот честный авгур заявил, что облечен правами жреца, так что на основании авспиций он может либо не допустить созыва комиций, либо объявить выборы недействительными, и он заверил, что он так и поступит. (81) Прежде всего обратите внимание на его необычайную глупость. Как же так? Даже не будучи авгуром, но будучи консулом, разве не смог бы ты сделать то, что ты, по твоим словам, имел возможность сделать по праву жречества? Пожалуй, еще легче. Ведь мы обладаем только правом сообщать, что мы наблюдаем за небесными знаменами, а консулы и остальные должностные лица — и правом их наблюдать¹⁰⁸. Пусть будет так! Он сказал это по недостатку опыта; ведь от человека, никогда не бывающего трезвым, требовать разумного рассуждения нельзя; но обратите внимание на его бесстыдство. За много месяцев до того он сказал в сенате, что он либо посредством авспиций не допустит комиций по избранию Долабеллы, либо сделает то самое, что он и сделал. Мог ли кто-нибудь — кроме тех, кто решил наблюдать за небом, — предугадать, какая неправильность будет допущена при авспициях? Во время комиций этого не позволяют законы, а если кто-либо и производил наблюдения за небом, то он должен заявить об этом не после комиций, а до них. Но невежество Антония сочетается с бесстыдством: он и не знает того, что авгуру подобает знать, и не делает того, что приличествует добросовестному человеку. (82) Итак, вспомните его консульство, начиная с того дня и вплоть до мартовских ид¹⁰⁹. Какой прислужник был когда-либо так угодлив, так принижен? Сам он не мог сделать ничего; обо всем он просил Цезаря; припадая головой к спинке носилок, он выпрашивал у своего коллеги милости, чтобы их продавать.

(XXXIII) И вот наступает день комиций по избранию Долабеллы; жеребьевка для назначения центурии, голосующей первой¹¹⁰; Антоний бездействует; объявляют о поданных голосах — молчит; приглашают первый разряд¹¹¹; объявляют о поданных голосах; затем, как это принято, голосуют всадники; затем приглашают второй разряд; все это происходит быстрее, чем я описал. (83) Когда все закончено, честный авгур — можно подумать, Гай Лелий! — говорит: «В другой день!»¹¹² О, неслыханное бесстыдство? Что ты увидел, что понял, что услышал? Ведь ты не говорил, что наблюдал за небом, да и сегодня этого не

говоришь. Следовательно, препятствием является та неправильность, которую ты предвидел так давно и заранее предсказал. И вот ты, клянусь Геркулесом, лживо измыслил важные авспиции, которые должны навлечь несчастье, надеюсь, на тебя самого, а не на государство; ты опутал римский народ религиозным запретом; ты как авгур по отношению к авгуру, как консул по отношению к консулу совершил обнунциацию. Не хочу распространяться об этом, дабы не показалось, что я не признаю законными действий Долабеллы, тем более что обо всем этом рано или поздно неминуемо придется докладывать нашей коллегии. (84) Но обратите внимание на надменность и наглость Антония. Значит, доколе тебе будет угодно, Долабелла избран в консулы неправильно; но когда ты захочешь, он окажется избранным в соответствии с авспициями. Если то, что авгур делает заявление в тех выражениях, в каких ее совершил ты, не значит ничего, сознайся, что ты, произнося слова «*В другой день!*», не был трезв. Если же в твоих словах есть какой-либо смысл, то я как авгур спрашиваю своего коллегу, в чем этот смысл заключается.

Но, дабы мне не пропустить в своей речи самого прекрасного из поступков Марка Антония, перейдем к Луперкалиям. (XXXIV) Он ничего не скрывает, отцы-сенаторы! Он обнаруживает свое волнение, покрывается потом, бледнеет. Пусть делает все, что угодно, только бы не стал блевать, как в Минуциевом портике! Как оправдать такой тяжкий позор? Хочу слышать, что ты скажешь, чтобы видеть, что такая огромная плата риторы — земли в Леонтинской области — была дана не напрасно.

(85) Твой коллега сидел на рострах, облеченный в пурпурную тогу, в золотом кресле, с венком на голове. Ты поднимаешься на ростры, подходишь к креслу (хотя ты и был луперком, ты все же должен был бы помнить, что ты — консул), показываешь диадему¹¹³. По всему форуму пронесся стон. Откуда у тебя диадема? Ведь ты не подобрал ее на земле, а принес из дому — преступление с заранее обдуманном намерением. Ты пытался возложить на голову Цезаря диадему среди плача народа, а Цезарь, среди его рукоплесканий, ее отвергал. Итак, это ты, преступник, оказался единственным, кто способствовал утверждению царской власти, кто захотел своего коллегу сделать своим господином, кто в то же время решил испытать долготерпение римского народа. (86) Но ты даже пытался возбудить сострадание к себе, ты с мольбой бросался Цезарю в ноги. О чем ты просил его? О том, чтобы стать рабом? Для себя одного ты мог просить об этом; ведь ты с детства жил, вынося все что угодно и с легкостью раболепствуя. Ни от нас, ни от римского народа ты таких полномочий, конечно, не получал. О, прославленное твое красноречие, когда ты нагой выступал перед народом! Есть ли что-либо более позорное, более омерзительное, более достойное любой казни? Ты, может быть, ждешь, что мы станем колоть тебя стрелами? Так моя речь, если только в тебе осталась хотя бы капля чувства, тебя мучит и терзает до крови. Боюсь, как бы мне не пришлось умалить славу наших великих мужей¹¹⁴, но я все же скажу, движимый чувством скорби. Какой позор! Тот, кто возлагал диадему, жив, а убит — и, как все признают, по справедливости — тот, кто ее отверг. (87) Но Антоний даже приказал дополнить запись о Луперкалиях, имеющуюся в фастах: «*По велению народа, консул Марк Антоний предложил постоянному диктатору Гаю Цезарю царскую власть. Цезарь ее отверг*». Вот теперь меня совсем не удивляет, что ты вызываешь смуту, ненавидишь, уже не говорю — Рим, нет, даже солнечный свет, что ты, вместе с отъявленными разбойниками, живешь тем, что вам перепадет в данный день, и только на нынешний день и рассчитываешь. В самом деле, где мог бы ты в мирных условиях найти себе пристанище? Разве для тебя найдется место при наличии законности и правосудия, которые ты, насколько это было в твоих силах, уничтожил, установив царскую власть? Для того ли был изгнан Луций Тарквиний, казнены Спурий Кассий, Спурий Мелий, Марк Манлий¹¹⁵, чтобы через много веков Марк Антоний, нарушая божественный закон, установил в Риме царскую власть?

(XXXV, 88) Но вернемся к вопросу об авспициях, о которых Цезарь собирался говорить в сенате в мартовские иды. Я спрашиваю: как поступил бы ты тогда? Я, действительно, слышал, что ты пришел, подготовившись к ответу, так как ты будто бы думал, что я буду говорить о тех вымышленных авспициях, с которыми тем не менее было необходимо считаться. Не допустила этого в тот день счастливая судьба государства. Но разве гибель Цезаря лишила силы также и твое суждение об авспициях? Впрочем, я дошел в своей речи до времени, которому надо уделить больше внимания, чем событиям, о которых я начал говорить. Как ты бежал, как перепугался в тот славный день! Как ты, сознавая свои злодеяния, дрожал за свою жизнь, когда после бегства ты — по милости людей, согласившихся сохранить тебя невредимым, если одумаешься, — тайком возвратился домой! (89) О, сколь напрасны были мои предсказания, всегда оправдывавшиеся! Я говорил в Капитолии нашим избавителям, когда они хотели, чтобы я пошел к тебе и уговорил тебя встать на защиту государственного строя: пока ты будешь в страхе, ты будешь обещать все что угодно; как только ты перестанешь бояться, ты снова станешь самим собой. Поэтому, когда другие консуляры несколько раз ходили к тебе, я остался тверд в своем решении, не виделся с тобой ни в тот, ни на другой день и не поверил, что союз честнейших граждан с заклятым врагом можно было скрепить каким бы то ни было договором. На третий день я пришел в храм Земли, правда, неохотно, так как все пути к храму были заняты вооруженными людьми. (90) Какой это был для тебя день, Антоний! Хотя ты впоследствии неожиданно оказался моим недругом¹¹⁶, мне все-таки тебя жаль, так как ты с такой ненавистью отнесся к собственной славе¹¹⁷.

(XXXVI) Бессмертные боги! Каким и сколь великим мужем был бы ты, если бы смог тогда быть верен решениям, принятым тобой в тот день! Между нами был бы мир, скрепленный предоставлением заложника, мальчика знатного происхождения, внука Марка Бамбалиона¹¹⁸. Но честным тебя делал страх, недолговечный наставник в соблюдении долга, негодяем тебя сделала никогда тебя не покидающая — когда ты страха не испытываешь — наглость. Впрочем, и тогда, когда тебя считали честнейшим человеком (правда, я с этим не соглашался), ты преступнейшим образом руководил похоронами тиранна, если только это можно было считать похоронами. (91) Твоей была та прекрасная хвалебная речь, твоим было соболезнование, твоими были увещания; ты, повторяю, зажег факелы — и те, которыми был наполовину сожжен Цезарь, и те, от которых сгорел дом Луция Беллиена. Это ты побудил пропащих людей и, главным образом, рабов напасть на наши дома, которые мы отстояли вооруженной силой. Однако ты же, как бы стерев с себя сажу, в течение остальных дней провел в Капитолии замечательные постановления сената, запрещавшие водружать после мартовских ид доски с извещением о каких бы то ни было льготах или милостях. Ты сам помнишь, что ты сказал об изгнанниках, знаешь, что ты сказал о льготах. Но действительно наилучшее — это то, что ты навсегда уничтожил в государстве имя диктатуры; это твое деяние как будто показывало, что ты почувствовал такую сильную ненависть к царской власти, что, ввиду недавнего нашего страха перед диктатором, был готов уничтожить самое имя диктатуры. (92) Некоторым другим людям казалось, что в государстве установился порядок, но отнюдь не мне, так как я при таком кормчём, как ты, опасался крушения государственного корабля. И разве я в этом ошибся? Другими словами — разве Антоний мог и долее быть непохож на самого себя? У вас на глазах по всему Капитолию водружались доски с записями, причем льготы продавались уже не отдельным лицам, но даже целым народам; гражданские права предоставлялись уже не отдельным лицам, а целым провинциям. Итак, если останется в силе то, что не может остаться в силе, если государство еще существует, то вы, отцы-сенаторы, утратили все провинции, рыночный торг в доме Марка Антония уменьшил уже не только подати и налоги, но и державу римского народа.

(XXXVII, 93) Где 700 миллионов сестерциев, числящиеся в книгах, хранящихся в храме Опс? Правда, это — злосчастные деньги Цезаря¹¹⁹, но все же они, если их не возвращать тем, кому они принадлежали, могли бы избавить нас от налога на недвижимость¹²⁰. Но каким же

образом вышло, что те 40 миллионов сестерциев, которые ты был должен в мартовские иды, ты перед апрельскими календами уже не был должен? Правда, невозможно перечислить все те распоряжения, которые покупались у твоих близких не без твоего ведома, но особенно бросается в глаза одно — решение насчет царя Дейотара¹²¹, лучшего друга римского народа; доска с записью была водружена в Капитолии; когда она была выставлена, не было человека, который бы при всей своей скорби мог удержаться от смеха. (94) В самом деле, был ли кто-нибудь кому-либо большим недругом, чем Дейотару Цезарь, недругом в такой же мере, как нашему сословию, как всадническому, как массилийцам, как всем тем, кому, как он понимал, дорого государство римского народа? Так вот, царь Дейотар, который — ни лично, ни заочно — не добился от Цезаря при его жизни ни справедливого, ни доброго отношения к себе, теперь вдруг, после его смерти, осыпан его милостями. Цезарь, находясь на месте, привлек своего гостеприимца к ответу, установил размер пени, потребовал уплаты денег, назначил в его тетрархию одного из своих спутников-греков¹²², отнял у него Армению, предоставленную ему сенатом. Все то, что он при своей жизни отобрал, он возвращает посмертно. (95) И в каких выражениях! Он то признает это справедливым, то не признает справедливым¹²³. Удивительное хитросплетение слов! Но Цезарь — ведь я всегда заступался перед ним за Дейотара в его отсутствие — не признавал справедливой ни одной моей просьбы в пользу царя. Письменное обязательство на 10 миллионов сестерциев составили при участии послов, людей честных, но боязливых и неискушенных, составили, не узнав ни моего мнения, ни мнения других гостеприимцев царя, на женской половине дома¹²⁴, в месте, где очень многое поступало и поступает в продажу. Советую тебе подумать, что тебе делать на основании этого письменного обязательства; ибо сам царь, по собственному почину, без всяких записей Цезаря, как только узнал о его гибели, с помощью Марса, благосклонного к нему, вернул себе свое. (96) Умудренный человек, он знал, что если у кого-либо его имущество было отнято тиранном, то после убийства тиранна оно возвращалось тому, у кого было отнято, и что это всегда считалось законным. Поэтому ни один законовед, — даже тот, который является законоведом для тебя одного¹²⁵, тот, при чьей помощи ты и ведешь это дело, — на основании этого письменного обязательства не скажет, что за имущество, возвращенное до заключения обязательства, причитаются деньги. Ибо Дейотар у тебя его не покупал, но раньше, чем ты смог бы продать ему его собственность, он сам завладел ею. Он был настоящим мужем, а мы достойны презрения, так как вершителя мы ненавидим, а дела его защищаем.

(XXXVIII, 97) К чему мне говорить о записях, которым нет конца, о бесчисленных собственноручных заметках? Существуют даже продавцы, открыто торгующие ими, словно это объявления о боях гладиаторов. Так у него вырастают такие горы монет, что деньги уже взвешиваются, а не подсчитываются. Но сколь слепа алчность! Недавно была водружена доска с записью, на основании которой богатейшие городские общины Крита освобождались от податей и налогов и устанавливалось, что после проконсульства Марка Брута Крит уже не будет провинцией¹²⁶. И ты в своем уме? И тебя не следует связать? Мог ли Крит, на основании указа Цезаря, быть освобожден от повинностей после отъезда оттуда Марка Брута, когда Брут при жизни Цезаря к Криту никакого отношения не имел? Но — не думайте, что ничего не случилось, — после продажи этого указа вы Крит как провинцию утратили. Вообще еще не было покупателя, которому Антоний отказался бы что-нибудь продать. (98) А закон об изгнанниках, записанный на водруженной тобой доске, — разве Цезарь его провел? Я никого не преследую в его несчастье. Я только, во-первых, сетую на то, что при своем возвращении оказались опозоренными те люди, чьи дела сам Цезарь расценивал как особые¹²⁷, во-вторых, я не знаю, почему ты не предоставляешь этой же милости и остальным; ведь их осталось не больше трех-четырех человек. Почему люди, которых постигло одинаковое несчастье, не находят у тебя одинакового сострадания? Почему ты обращаешься с ними так же, как со своим дядей, о котором ты отказался провести закон, когда проводил его насчет остальных? Ведь ты даже побудил его добиваться цензуры, причем ты так подготовил его соискание, что оно вызывало и смех, и сетования. (99) Но почему ты не созвал этих комиций? Не потому ли,

что народный трибун намеревался возвестить о том, что молния упала с левой стороны¹²⁸? Когда что-нибудь важно для тебя, авспиции ничего не значат; когда это важно для твоих родных, ты становишься благочестивым. Далее, разве при назначении септемвиров¹²⁹ ты не обошел его, когда он был в затруднительном положении? Правда, в это дело вмешался человек, отказать которому ты, видимо, не решился, страшась за свою жизнь. Ты всячески оскорблял того, кого ты, будь в тебе хоть капля совести, должен был бы почитать, как отца. Его дочь, свою двоюродную сестру¹³⁰, ты выгнал, подыскав и заранее найдя для себя другую женщину. Мало того, самую нравственную женщину ты ложно обвинил в бесчестном поступке. Что можно добавить к этому? Ты и этим не удовольствовался. В январские календы, когда сенат собрался в полном составе, ты в присутствии своего дяди осмелился сказать, что причина твоей ненависти к Долабелле в том, что он, как ты дознался, пытался вступить в связь с твоей двоюродной сестрой и женой. Кто возьмется установить, более ли бесстыдным ты был, говоря об этом в сенате, или же более бесчестным, нападая на Долабеллу, более ли нечестивым, говоря в присутствии своего дяди, или же более жестоким, так грязно, так безбожно напав на эту несчастную женщину?

(XXXIX, 100) Но вернемся к собственноручным записям. В чем заключалось твое расследование? Ведь сенат для сохранения мира утвердил распоряжения Цезаря, но те, которые Цезарь издал в действительности, а не те, которые, по словам Антония, издал Цезарь. Откуда все они внезапно возникают, кто за них отвечает? Если они подложны, то почему находят одобрение? Если они подлинны, то почему поступают в продажу? Но ведь было решено, чтобы вы¹³¹ совместно с советом в июньские календы произвели расследование о распоряжениях Цезаря. Разве был такой совет? Кого ты когда бы то ни было созывал? Каких июньских календ ты ждал? Не тех ли, к которым ты, посетив колонии ветеранов, возвратился в сопровождении вооруженных людей?

О, славная твоя поездка в апреле и мае месяцах, когда ты пытался вывести колонию даже в Капую! Мы знаем, каким образом ты оттуда унес ноги; лучше было сказать — немногого недоставало, чтобы ты оттуда не унес ног¹³². (101) Этому городу ты угрожаешь. О, если бы ты попытался действовать так, чтобы уже не приходилось жалеть об этом «немногом»! Но какую широкую известность приобрела твоя поездка! К чему упоминать мне о великолепии твоего стола, о твоём беспробудном пьянстве? Впрочем, это было накладно для тебя, но вот что накладно для нас: когда земли в Кампании изымали из числа земель, облагаемых налогом, с тем, чтобы предоставить их солдатам, то и тогда мы все считали, что государству наносится тяжелая рана¹³³. А ты эти земли раздавал участникам своих пирушек и любовных игр. Об актерах и актрисах, расселенных в Кампанской области, говорю я, отцы-сенаторы. Стоит ли мне теперь сетовать на судьбу леонтинских земель¹³⁴? Ведь именно эти уголья, кампанские и леонтинские, считались плодороднейшими и доходнейшими из всего достояния римского народа. Врачу — три тысячи югеров. А сколько бы он получил, если бы тогда вылечил тебя? Ритору¹³⁵ — две тысячи. А что, если бы ему удалось сделать тебя красноречивым? Но поговорим еще о твоей поездке и Италии.

(XL, 102) Ты вывел колонию в Касилин, куда Цезарь ранее уже вывел колонию. Ты в письме спросил моего совета (это, правда, касалось Капуи, но я дал бы такой же совет насчет Касилина¹³⁶): позволяет ли тебе закон вывести новую колонию туда, где колония уже существует? Я указал, что вывод новой колонии в ту колонию, которая была выведена с совершением авспиций, противозаконен, пока эта последняя существует. В своем письме я ответил, что новые колонии могут приписаться. Но ты, безмерно зазнавшись и нарушив все права авспиций, вывел колонию в Касилин, куда несколькими годами ранее уже была выведена колония, причем ты поднял знамя и провел границы плугом¹³⁷, лемехом которого ты, можно сказать, чуть не задел ворот Капуи, так что земли процветавшей колонии уменьшились. (103) После этого нарушения религиозных запретов ты набросился на касинское поместье

Марка Варрона¹³⁸, честнейшего и неподкупнейшего мужа. По какому праву? Какими глазами мог ты на него смотреть? «Таковыми же, — скажешь ты, — какими я смотрел на имения наследников Луция Рубрия, на имения наследников Луция Турселия и на бесчисленные остальные владения». А если ты сделал это, купив их на торгах, то пусть остаются в силе торги, пусть остаются в силе записи, лишь бы это были записи Цезаря, а не твои, иными словами, те, в которых были записаны твои долги, а не те, на основании которых ты от долгов избавился. Что же касается поместья Варрона в Касине, то кто мог бы утверждать, что оно поступило в продажу? Кто видел копьё, водруженное при этой продаже? Кто слышал голос глашатая? Ты, по твоим словам, посылал в Александрию человека, чтобы он купил поместье у Цезаря; ибо дожидаться его самого тебе было трудно. (104) Но кто и когда слышал, что какая-то часть имущества Варрона была утрачена, между тем его благополучием было озабочено множество людей? Далее, а что, если Цезарь в своем письме даже велел тебе возвратить это имущество? Что еще можно сказать о таком бесстыдстве? Убери хотя бы на короткое время те мечи, которые мы видим: ты сразу поймешь, что одно дело — торги, устроенные Цезарем, другое — твоя самоуверенность и наглость. Ведь тебя на этот участок не допустит, уже не говорю — сам собственник, но даже любой его друг, сосед, гость, управитель.

(XLI) А сколько дней подряд ты предавался в этой усадьбе позорнейшим вакханалиям! Начиная с третьего часа пили, играли, извергали из себя¹³⁹. О, несчастный кров «при столь неподходящем хозяине»¹⁴⁰! А впрочем, разве он стал там хозяином? Ну, скажем, «при неподходящем постояльце»! Ведь Марк Варрон хотел, чтобы у него было убежище для занятий, а не для разврата. (105) О чем ранее в усадьбе этой говорили, что обдумывали, что записывали! Законы римского народа, летописи старины, все положения философии и науки. Но когда постояльцем в нем был ты (ибо хозяином ты не был), все оглашалось криками пьяных, полы были залиты вином, стены забрызганы; свободнорожденные мальчики толклись среди продажных, распутницы — среди матерей семейств. Приезжали люди из Касина, из Аквина, из Интерамны; к тебе не допускали никого. Впрочем, это как раз было правильно; ведь у столь тяжко опозорившегося человека и знаки его достоинства были осквернены.

(106) Когда он, отправившись оттуда в Рим, подъезжал к Аквину, навстречу ему вышла довольно большая толпа людей, так как этот муниципий густо населен. Но его пронесли через город в закрытых носилках, словно мертвеца. Аквинаты, конечно, поступили глупо, но ведь они жили у дороги. А анагийцы? Они, так как их город находится в стороне от дороги, спустились на дорогу, чтобы приветствовать его как консула, как будто он действительно был им. Трудно поверить, если скажут [...], но тогда всем слишком хорошо было известно, что он никого не принял, тем более, что при нем было двое анагийцев, Мустела и Лакон, один из которых — первый по части меча, другой — по части кубков¹⁴¹. (107) Стоит ли мне упоминать об угрозах и оскорблениях, с какими он налетел на сидицинцев¹⁴², о том, как он мучил путеоланцев за то, что они избрали своими патронами¹⁴³ Гая Кассия и Брутов? Жители этих городов сделали это из великой преданности, рассудительности, благожелательности, приязни, а не под давлением вооруженной силы, как избирали в патроны тебя, Басила¹⁴⁴ и других, подобных вам людей; ведь никто не хотел бы даже иметь вас клиентами; не говорю уже — быть вашим клиентом.

(XLII) Между тем в твое отсутствие, какой торжественный день наступил для твоего коллеги, когда он разрушил на форуме тот надгробный памятник, который ты привык почитать¹⁴⁵! Когда тебе сообщили об этом, ты, как видели все, кто был вместе с тобой, рухнул наземь. Что произошло впоследствии, не знаю. Думаю, что страх перед вооруженной силой одержал верх; ты сбросил своего коллегу с небес и добился того, что он стал если даже и теперь непохожим на тебя, то, во всяком случае, непохожим на самого себя.

(108) А каково было потом возвращение Антония в Рим! Какая тревога во всем городе! Мы вспоминали непомерную власть Цинны, затем — господство Суллы; недавно мы видели, как царствовал Цезарь. Были, быть может, и тогда мечи, но припрятанные и не особенно многочисленные. Но каковы и сколь сильны твои злодеи-спутники! Они следуют за тобой в боевом порядке, с мечами в руках. Мы видим, как несут парадные носилки, полные щитов. Но мы, отцы-сенаторы, уже притерпевшись к этому, благодаря привычке закалились. В июньские календы мы, как было решено, хотели явиться в сенат, но, охваченные страхом, тотчас же разбежались. (109) А Марк Антоний, ничуть не нуждавшийся в сенате, не почувствовал тоски ни по одному из нас, нет, он даже обрадовался нашему отъезду и тотчас же совершил свои изумительные деяния. Подлинность собственноручных записей Цезаря он отстоял из своекорыстных побуждений, но законы Цезаря и притом наилучшие¹⁴⁶ он уничтожил, дабы иметь возможность поколебать государственный строй. Наместничества он продлил на ряд лет и, хотя именно ему следовало быть защитником распоряжений Цезаря, отменил его распоряжения, касающиеся и государственных, и частных дел. В государственных делах нет ничего более важного, чем закон; в частных делах самое прочное — завещание. Одни законы он отменил без промугации¹⁴⁷, о других промугацию совершил, чтобы их упразднить. Завещание же он свел на нет, а оно даже для самых незначительных граждан всегда сохранялось в силе. Статуи и картины, которые Цезарь завещал народу вместе со своими садами, он перевез отчасти в сады Помпея, отчасти в усадьбу Сципиона.

(XLIII, 110) И это ты хранишь память о Цезаре? Ты чтешь его после его смерти? Можно ли было оказать ему больший почет, чем предоставление ему ложа, изображения, двускатной кровли и назначение фламينا¹⁴⁸? И вот теперь, подобно тому как фламин есть у Юпитера, у Марса, у Квирина, у божественного Юлия им является Марк Антоний. Почему же ты медлишь? Где же твоя инаугурация¹⁴⁹? Назначь для этого день; подумай, кто мог бы совершить твою инаугурацию; ведь мы — коллеги, и никто не откажется сделать это. О, гнусный человек! — безразлично, являешься ли ты жрецом Цезаря или жрецом мертвеца. Далее, я спрашиваю: разве тебе неизвестно, какой сегодня день? Разве ты не знаешь, что вчера был четвертый день Римских игр в Цирке¹⁵⁰ и что ты сам внес на рассмотрение народа предложение, чтобы пятый день этих игр дополнительно был посвящен Цезарю? Почему же мы сегодня не облечены в претексты, почему мы терпим, что Цезарю, в силу твоего же закона, не оказывают почета, положенного ему? Или осквернение молебствия прибавлением одного дня ты допустил, а осквернения лож не захотел? Либо изгоняй благочестие отовсюду, либо повсюду его сохраняй. (111) Ты спросишь, одобряю ли я, что у Цезаря были ложе, двускатная кровля, фламин. Нет, я ничего этого не одобряю. Но ты, который защищаешь распоряжения Цезаря, как объяснишь ты, почему ты одно защищаешь, а о другом не заботишься? Уж не хочешь ли ты сознаться в том, что имеешь в виду только свою выгоду, а вовсе не почести, оказываемые Цезарю? Что ты на это, наконец, ответишь? Ведь я жду потока твоего красноречия. Твоего деда я знал как красноречивейшего человека, тебя — даже как чересчур откровенного в речах. Он никогда не выступал на народной сходке обнаженный; твою же голую грудь — простодушный человек! — мы увидели. Ответишь ли ты на это и вообще осмелишься ли ты открыть рот? Найдешь ли ты в моей столь длинной речи что-нибудь такое, на что ты решился бы дать ответ?

(XLIV, 112) Но не будем говорить о прошлом. Один только этот день, повторяю, один нынешний день, одно то мгновение, когда я говорю, оправдай, если можешь. Почему сенат находится в кольце из вооруженных людей? Почему твои приспешники слушают меня, держа мечи в руках? Почему двери храма Согласия не открыты настежь? Почему ты приводишь на форум людей из самого дикого племени — итирийцев, вооруженных луками и стрелами? Антоний, послушать его, делает это для собственной защиты. Так не лучше ли тысячу раз погибнуть, чем не иметь возможности жить среди своих сограждан без вооруженной охраны? Но это, поверь мне, вовсе не защита: любовью и расположением граждан должен ты быть

огражден, а не оружием. (113) Вырвет и выбьет его у тебя из рук римский народ! О, если бы это произошло без опасности для нас! Но как бы ты ни обошелся с нами, ты, — пока ты ведешь себя так, как теперь, — поверь мне, не можешь продержаться долго. И в самом деле, твоя ничуть не жадная супруга — о которой я говорю без всякого желания оскорбить ее — слишком медлит с уплатой своего третьего взноса римскому народу¹⁵¹. Есть у римского народа люди, которым можно доверить кормило государства: в каком бы краю света люди эти ни находились, там находится весь оплот государства, вернее, само государство, которое доселе за себя только покарало¹⁵², но еще не возродилось¹⁵³. Есть в государстве, несомненно, и молодые знатнейшие люди, готовые выступить в его защиту. Пусть они, заботясь о сохранении спокойствия в государстве, и отступят, насколько захотят, государство все же призовет их. И слово «мир» приятно, и самый мир спасителен; различие между миром и рабством огромно. Мир — это спокойная свобода, рабство же — это худшее из всех зол, от которого мы должны отбиваться не только войной, но и ценой жизни. (114) Но если наши освободители сами скрылись с наших глаз, они все же оставили нам пример в виде своего поступка. То, чего не сделал никто, сделали они. Брут пошел войной на Тарквиния, бывшего царем тогда, когда в Риме это было дозволено. Спурий Кассий, Спурий Мелий, Марк Манлий, заподозренные в стремлении к царской власти, были казнены. А эти люди впервые с мечами в руках напали не на человека, притязавшего на царскую власть, а на того, кто уже царствовал. Это поступок, славный сам по себе и божественный; он совершен у нас на глазах как пример для подражания — тем более, что они стяжали такую славу, какую небо едва ли может вместить. Хотя уже само сознание прекрасного поступка и было для них достаточной наградой, я все же думаю, что смертному не следует презирать бессмертия.

(XLV, 115) Вспомни же, Марк Антоний, тот день, когда ты уничтожил диктатуру. Представь себе воочию ликование римского народа и сената, сравни это с чудовищным торгом, который ведешь ты и твои приспешники. Ты поймешь тогда, как велико различие между барышом и заслугами. Но подобно тому как люди, во время какой-нибудь болезни страдая притуплением чувств, не ощущают приятного вкуса пищи, так развратники, алчные и преступные люди, несомненно, лишены вкуса к истинной славе. Но если слава не может побудить тебя к действиям справедливым, то неужели даже страх не может отвлечь тебя от гнуснейших поступков? Правосудия ты не боишься. Если — полагаясь на свою невиновность, хвалю; если — полагаясь на свою силу, то неужели ты не понимаешь, чего следует страшиться человеку, который дошел до того, что и правосудие ему не страшно? (116) Но если храбрых мужей и выдающихся граждан ты не боишься, так как твою жизнь защищают от них оружием, то и сторонники твои, поверь мне, недолго будут тебя терпеть. Но что это за жизнь — днем и ночью бояться своих? Уж не думаешь ли ты, что ты привязал их к себе большими благодеяниями, чем те, какие Цезарь оказал кое-кому из тех людей, которые его убили, или что тебя в каком бы то ни было отношении можно с ним сравнить? Он отличался одаренностью, умом, памятью, образованием, настойчивостью, умением обдумывать свои планы, упорством. Вступив на путь войны, он совершил деяния, хотя и бедственные для государства, но все же великие; замыслив царствовать долгие годы, он с великим трудом, ценой многочисленных опасностей осуществил то, что задумал. Гладиаторскими играми, постройками, щедрыми раздачами, играми, он привлек на свою сторону неискушенную толпу; своих сторонников он привязал к себе наградами, противников — видимостью милосердия. К чему много слов? Коротко говоря, он, то внушая страх, то проявляя терпение, приучил свободных граждан к рабству.

(XLVI, 117) Я могу сравнить тебя с ним разве только во властолюбии; во всем другом ты никак не можешь выдержать сравнения. Но несмотря на множество ран, которые он нанес государству, все же осталось кое-что хорошее: римский народ уже понял, насколько можно верить тому или иному человеку, на кого можно положиться, кого надо остерегаться. Но ведь об этом ты не думаешь и не понимаешь, что для храбрых мужей достаточно понять, насколько

прекрасным поступком является убийство тиранна, насколько приятно оказать людям это благодеяние, сколь великую славу оно приносит. (118) Неужели люди, не стерпевшие власти Цезаря, стерпят твою? Поверь мне, вскоре они, друг с другом состязаясь, ринутся на этот подвиг и не станут долго ждать удобного случая.

Образумься наконец, прошу тебя; подумай о том, кем ты порожден, а не о том, среди каких людей ты живешь. Ко мне относись, как хочешь; помирись с государством. Но о себе думай сам; я же о себе скажу вот что: я защитил государство, будучи молод; я не покину его стариком. С презрением отнесся я к мечам Катилины, не испугаюсь и твоих. Более того, я охотно встретил бы своей грудью удар, если бы мог своей смертью приблизить освобождение сограждан, дабы скорбь римского народа, наконец, породила то, что она уже давно рождает в муках. (119) И в самом деле, если около двадцати лет назад я заявил в этом же самом храме, что для консуляра не может быть безвременной смерти¹⁵⁴, то насколько с большим правом я скажу теперь, что ее не может быть для старика! Для меня, отцы-сенаторы, смерть поистине желанна, когда все то, чего я добивался, и все то, что я совершал, выполнено. Только двух вещей я желаю: во-первых, чтобы я, умирая, оставил римский народ свободным (ничего большего бессмертные боги не могут мне даровать); во-вторых, чтобы каждому из нас выпала та участь, какой он своими поступками по отношению к государству заслуживает.

ПРИМЕЧАНИЯ ВТОРАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ

1. Т. е. со времени консульства Цицерона (63 г.). Счет времени ведется включительно.
2. Участники заговора Катилины.
3. Ср. речи 11, § 15; 12, § 20; 27, § 24.
4. Ср. письмо Att., XVI, 11, 1 (DCCXCIX). Фадия, первая жена Антония, была дочерью вольноотпущенника Квинта Фадия. Цицерон говорит «был», так как, по представлению римлян, со смертью человека родственные отношения прекращались. Ср. речь 18, § 6.
5. Молодые люди обучались ораторскому искусству у ораторов и государственных деятелей. Ср. речь 19, § 9; Плиний Младший, Письма, 8, 14.
6. См. ниже, § 44 сл.
7. Цицерон был избран в авгуры в 53 г., после гибели Марка Лициния Красса на войне против парфян [Цицерон был избран в авгуры на место Публия Лициния Красса, сына Марка, погибшего вместе с отцом (Плутарх, «Цицерон», 36). — Прим. О. Любимовой.].
8. *Квинт Гортенсий Гортал*, консул 69 г., знаменитый оратор.
9. См. прим. 46 к речи 16.
10. Цезарь. См. прим. 8 к речи 24.
11. Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. См. Светоний, «Божественный Юлий», 84.
12. Имеется в виду I филиппика (речь 25).
13. Имеется в виду расхищение государственного имущества. См. ниже, § 92, 95; речь 25, § 17.
14. Об авспициях см. прим. 11 к речи 8, об интерцессии — прим. 57 к речи 5.
15. См. письма Att., XIV, 13a (DCCXVII); 13b (DCCXVIII).
16. *Мустела* и *Тирон* — предводители шаек Антония.
17. См. ниже, § 35, 97 сл. Намек на заметки Цезаря, оказавшиеся в руках у Антония. Ср. речь 25, § 2.
18. Ср. речь 25, § 3.
19. См. вводное примечание к речам 9—12.
20. Цезарианец *Гай Скрибоний Курион-сын* в 49 г. пал в Африке во время гражданской войны.

21. Фульвия — жена Марка Антония, вдова Публия Клодия и Гая Куриона.
22. *Публий Сервий Исаврйский*, консул 79 г. (умер в 44 г.), *Квинт Лутаций Катул*, консул 78 г. (умер в 60 г.), *Луций Лициний Лукулл*, консул 74 г., *Марк Лициний Лукулл* [*Марк Теренций Варрон Лукулл*. — Прим. О. Любимовой.], консул 73 г., *Марк Лициний Красс*, консул 70 и 55 гг., *Гай Скрибоний Курион*, консул 76 г., *Гай Кальпурний Писон* и *Маний Ацилий Глабрион*, консулы 67 г., *Маний Эмилий Лепид* и *Луций Волкаций Тулл*, консулы 66 г., *Гай Марций Фигул*, консул 64 г., *Децим Юний Силан* и *Луций Лициний Мурена*, консулы 62 г.
23. *Марк Катон* в 46 г., после поражения помпеянцев в Африке, покончил с собой в Утике; получил посмертно прозвание «Утический».
24. Помпей, по возвращении в конце 62 г. с Востока, в окрестностях Рима ожидал своего триумфа, который он справил в сентябре 61 г.
25. Ср. письмо Att., I, 14, 3 (XX).
26. *Луций Аврелий Котта*, консул 65 г. Ср. речи 11, § 15; 17, § 68.
27. См. прим. 96 к речи 1 и прим. 22 к речи 11.
28. *Луций Юлий Цезарь*, консул 64 г.
29. Публий Корнелий Лентул Сура, один из казненных катилинариев.
30. Первые два — параситы из комедий Теренция «Формион» и «Евнух». *Баллион* — сводник из комедии Плавта «Раб-обманщик».
31. 5 декабря 63 г., когда сенат в храме Согласия решал вопрос о казни катилинариев, на капитолйском склоне находились вооруженные римские всадники. См. речь 18, § 28; письмо Att., II, 1, 7 (XXVII).
32. Сам Цицерон.
33. Сирийское племя, покоренное Помпеем. Антоний составил из *итирийцев* свою личную охрану.
34. Т. е. у Кифериды, любовницы Антония. Ср. письмо Att., X, 10, 5 (CCCXCI).
35. Начало стиха из поэмы Цицерона «О моем времени». Ср. речь против Писона, § 72; письмо Fam., I, 9, 23 (CLIX); «Об обязанностях», I, § 77; Квинтилиан, XI, 1, 24.
36. См. речь 22, § 40.
37. Ср. речь 22, § 13.
38. В 59 г. на основании Ватиниева закона Цезарю было предоставлено проконсульство в Цисальпийской Галлии и Иллирике сроком на пять лет. В 55 г. на основании Помпеева-Лициниева закона проконсульство в Галлиях ему было продлено еще на пять лет. См. речь 21.
39. В 52 г. трибун Марк Целий Руф провел закон, разрешавший Цезарю заочно добиваться консульства. Ср. письма Att., VII, 1, 4 (CCLXXXIII); VIII, 3, 3 (CCCXXXII).
40. Ср. письмо Fam., XII, 2, 1 (DCCXC).
41. Например, Публий Корнелий Лентул, сын консула 57 г. См. письмо Fam., XII, 14, 6 (DCCCLXXXII).
42. *Марк* и *Децим Бруты*. См. прим. 30 к речи 25. Мать Марка Брута, Сервилия, вела свой род от Гая Сервилия Агалы. См. прим. 6 к речи 9.
43. Намек на Спурия Кассия Вецеллина, который был заподозрен в стремлении к царской власти и убит будто бы по требованию своего отца. См. Ливий, II, 41.
44. О событии, о котором говорит Цицерон, сведений нет. В 47 г. Цезарь двигался из Египта в Понт через Киликию.
45. *Гней Домиций Агенобарб* и его отец Луций были взяты Цезарем в плен в 49 г. в Корфинии и отпущены им. Луций Домиций пал под Фарсалом. См. Цезарь, «Гражданская война», I, 23; III, 99.
46. *Гай Требоний*, легат Цезаря в Галлии, трибун 55 г., консул в течение трех последних месяцев 45 г., был назначен заместником Ахайи. 15 марта 44 г., во время убийства Цезаря, задержал Антония у входа в Курию, вступив в ним в беседу. Ср. письма Fam., X, 28, 1 (DCCCXIX); XII, 4, 1 (DCCCXVIII).
47. *Луций Туллий Кимвр*, цезарианец, впоследствии один из убийц Цезаря.

48. *Публий Сервилиус Каска*, нанесший Цезарю первую рану, и его брат *Гай*. См. выше, прим. 42.
49. *Марк Брут* как городской претор не имел права быть вне Рима более десяти дней.
50. Игры в честь Аполлона были устроены от имени и на средства Марка Брута претором Гаем Антонием. Они начинались 7 июля. См. письма *Att.*, XV, 12, 1 (DCCXLVII); XVI, 4, 1 (DCCLXXI).
51. Провинции Крит и Кирена, предоставленные Марку Бруту и Гаю Кассию по предложению Антония. Провинции Сирия и Македония, назначенные им Цезарем, были переданы Долабелле и Марку Антонию.
52. *Стиль* (греч.) — заостренная палочка для писания на навощенных дощечках. Здесь — кинжал. Ср. письма *Fam.*, XII, 1, 1 (DCCXXIV); 3, 1 (DCCXCII); Гораций. Сатиры, II, 1, 39.
53. Преувеличение: Антония пытались вовлечь в заговор. См. Плутарх, «Антоний», 13.
54. См. речь 1, § 84, прим. 66.
55. См. ниже, § 93; речь 24, § 17.
56. Летом 49 г. Цицерон после долгих колебаний покинул Италию и присоединился к Помпею в Эпире.
57. См. Плутарх, «Цицерон», 38; Макробий, «Сатурналии», II, 3, 7.
58. О наследствах от друзей см. прим. 115 к речи 17.
59. С 1 по 19 сентября 44 г.
60. Марк Антоний, консул 99 г., знаменитый оратор.
61. О тоге-претексте см. прим. 96 к речи 1.
62. О Росциевом законе см. прим. 59 к речи 13.
63. *Стола* — одежда римской матроны (замужней женщины).
64. Т. е. через имплувий [*Комплувий*. — Прим. О. Любимовой.], отверстие в крыше дома над атрием.
65. Очевидно, Курион-сын поручился за Антония. Ср. письма *Att.*, II, 8, 1 (XXXV); *Fam.*, II, 1—7 (CLXIV—CLXVI, CLXXIII—CLXXV, CLXXVII).
66. Речь идет о восстановлении царя Птолемея Авлета, изгнанного из Александрии. В Сивиллиных книгах нашли запрет восстанавливать царя вооруженной силой. См. письма *Fam.*, I, 1 (XCIV); 2 (XCV).
67. Имеется в виду усадьба около Мисенского мыса в Кампании. Невдалеке от Сисапона (Испания) компании откупщиков добывали киноварь. Цицерон намекает на то, что мисенская усадьба принадлежит не столько Антонию, сколько его заимодавцам.
68. Юлия, дочь Луция Юлия Цезаря, консула 90 г.
69. Новоизбранные квесторы распределяли между собой провинции по жребию 5 декабря; с этого времени и начинались их полномочия. Марк Антоний был квестором Цезаря в Галлии в 52 г.
70. Т. е. Куриону. В 50 г. Курион, будучи трибуном, перешел на сторону Цезаря, возможно, подкупленный им. См. выше, § 44.
71. Консул 49 г. Лентул Крус погиб вместе с Помпеем в Египте в 48 г.
72. Т. е. принял *senatus consultum ultimum*. См. вводное примечание к речи 8; письмо *Fam.*, XVI, 11, 2 (CCC); Цезарь, «Гражданская война», I, 5, 4.
73. *Интерцессия* Антония по постановлению сената о том, чтобы Цезарь распустил свои войска (6 января 49 г.).
74. *Senatus auctoritas*. См. прим. 57 к речи 5.
75. Военные действия против сената. См. Цезарь, «Гражданская война», I, 32.
76. Гай Антоний, консул 63 г., осужденный в 59 г. после проконсульства в Македонии. Восстановление изгнанников в их правах было отменой решенного судебного дела (*res iudicata*).
77. Азартная игра в кости была в Риме запрещена.
78. В 49 г. для борьбы с помпеянами.
79. Это неверно: Цицерон в это время был в Кумах. См. *Att.*, X, 10 (CCCXCI).

80. По свидетельству Плиния («Естественная история», VIII, 21) и Плутарха («Антоний», 9), в колесницу Антония были запряжены львы (или пантеры?). Народный трибун не имел права на ликторов.
81. См. выше, прим. 34. О лектике см. прим. 95 к речи 1.
82. Т. е. помощником диктатора.
83. Т. е. лошадей, принадлежащих казне и отдаваемых внаймы, например магистратам, для устройства общественных игр. Гиппий и Сергей — мимические актеры.
84. Антоний вначале поселился в доме Помпея, не получив его в собственность. На этот дом заявлял притязания сын Гнея Помпея Секст. Другой дом — Марка Пупия Писона Кальпурниана, консула 61 г.
85. См. выше, § 40 сл. Антоний не уплатил за имущество помпеянцев, купленное им на аукционе.
86. См. прим. 56 к речи 7. *Храм Юпитера Статора* находился вблизи Фламиниева цирка.
87. См. прим. 80 к речи 19.
88. Ср. Плавт, «Пуниец», 843. Перевод А. В. Артюшкова.
89. О Харибде см. прим. 132 к речи 4.
90. Об Океане см. прим. 9 к речи 4.
91. О вестибуле см. прим. 77 к речи 19. Ростры — тараны пиратских кораблей, захваченных Помпеем.
92. О Двенадцати таблицах см. прим. 88 к речи 1. Киферида не была законной женой Антония. «*Забрать вещи*» — перевод формулы, которую произносил муж, объявляя жене о разводе (*res tuas tibi habeto*). Сарказм.
93. Антоний переправил в Эпир войска, оставленные Цезарем в Брундисии, и оказал этим помощь Цезарю, потерпевшему от Помпея поражение под Диррахием. Под Фарсалом Антоний командовал левым крылом войск Цезаря. Цицерон сам противоречит себе. Ср. Плутарх, «Антоний», 8.
94. Имущество помпеянцев, скупленное Антонием; см. выше, § 62.
95. См. выше, § 53, 56; Дион Кассий, 41, 17.
96. Т. е. список имущества для продажи с торгов с целью уплаты долгов.
97. См. выше, § 40; законные наследники Рубрия указали Цезарю на свои права, после чего он запретил продажу имущества.
98. Гладиатор, увольняемый от службы, получал деревянный меч.
99. Ср. письмо Att., XVI, 11, 2 (DCCXCIX).
100. См. речь 25, § 7 сл.
101. Башмаки особого покроя и тога — одежда сенатора. *Галльской обувью* (сандалиями) римляне пользовались дома.
102. Город в Этрурии. Ср. письмо Att., XIII, 40, 2 (DCCXCIX).
103. «*Катамит*» — латинское искажение имени Ганимед.
104. Ср. письма Att., XII, 18a, 1 (DLVI); 19, 2 (DLVII).
105. Уезжая в конце 46 г. в Испанию, Цезарь назначил городских префектов, чтобы они вместе с начальником конницы Марком Лепидом управляли государством. *Луций Мунаций Планк* как префект вел дела городского претора.
106. В октябре 45 г. после полной победы над помпеянами.
107. См. прим. 31 к речи 2.
108. Об авспициях см. прим. 11 к речи 8. Наблюдение и право наблюдения за небесными знаменами называлось спекцией. Клодиев закон 58 г. запрещал авспиции в комициальные дни, но не всегда соблюдался, хотя и не был отменен. Ср. речь 18, § 129.
109. 15 марта 44 г. — день убийства Цезаря.
110. О *centuria praerogativa* см. прим. 20 к речи 2.
111. См. прим. 40 к речи 4.
112. *Alio die* — слова авгура, признавшего знаменья дурными, вследствие чего комиции должны быть отложены. Гай Лелий Мудрый — друг Сципиона Младшего.

113. О Луперкалиях см. прим. 40 к речи 19. «Коллега» — Цезарь. *Диадема* — головная повязка восточных царей. См. Плутарх, «Антоний», 10.
114. Марк Брут, Гай Кассий и другие заговорщики.
115. *Луций Тарквиний* — последний царь Рима; о Мелии см. прим. 6 к речи 9; о Марке Манлии — прим. 37 к речи 14.
116. Имеется в виду речь Антония в сенате, произнесенная 1 сентября 44 г.
117. Отказавшись от политики, спасительной для государства. Ср. речь 25, § 1 сл.
118. *Марк Фульвий Бамбалион*, отец Фульвии, жены Антония.
119. Т. е. деньги, добытые продажей имущества помпеянцев. Ср. речь 25, § 17.
120. Налог на недвижимость был отменен после покорения Македонии (167 г.), снова был введен в 43 г., во времена триумvirата.
121. Тетрарх Галатии, союзник Рима в войнах против Митридата; во время гражданской войны был на стороне Помпея; был прощен Цезарем. В 45 г. внук Дейотара обвинил его в покушении на жизнь Цезаря. Цицерон защищал Дейотара перед Цезарем.
122. Это был Митридат Пергамский. Дейотар должен был уступить Малую Армению Ариобарзану, царю Каппадокии.
123. Имеется в виду вымышленный Антонием «Юлиев закон о восстановлении Дейотара в правах».
124. Имеется в виду Фульвия. См. выше, § 11, 77; Att., XIV, 12, 1 (DCCXVI).
125. Очевидно, Секст Клодий. См. выше, § 9; речь 25, § 3.
126. Преувеличение: эти финансовые мероприятия не изменяли положения Крита как римской провинции. Цезарь сделал Марка Брута наместником Македонии, а не Крита.
127. Политические изгнанники, возвращенные в Италию вместе с уголовными преступниками.
128. Неблагоприятное знамение. См. Цицерон, «О гадании», II, § 42.
129. *Септемvират* — комиссия из семи человек с участием Марка Антония. Она должна была дать землю ветеранам на основании земельного закона Луция Антония. См. письмо Att., XIV, 21, 2 (DCCXXIX).
130. Антония, вторая жена Марка Антония; он разошелся с ней в 47 г.
131. Консулы Марк Антоний и Публий Корнелий Долабелла. Ср. письмо Att., XVI, 16с, § 11 (DCCLXXIV).
132. Антоний встретил в Капуе враждебный прием: старые колонны не желали появления новых поселенцев. См. Филиппика XII, § 7.
133. Имеется в виду второй земельный закон Цезаря (59 г.). См. Att., II, 6, 1 (XLI).
134. Плодородные земли в Сицилии.
135. См. выше, § 43.
136. *Касилин* — город в Кампании; оказал сопротивление Ганнибалу.
137. Новые колонны, занимая отведенные им земли, двигались в военном строю со знаменем. Проведение границ плугом — сакральный акт.
138. *Марк Теренций Варрон*, выдающийся ученый древности; помпеянец. См. Светоний, «Божественный Юлий», 44.
139. Во время или после пира рвоту иногда вызывали у себя искусственно. См. письмо Att., XIII, 52, 1 (DCLXXXII).
140. Цитата из трагедии. См. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 139.
141. Ср. письмо Att., XVI, 11, 3 (DCCXCIX).
142. *Сидицинцы* — народность в Кампании; главный город — Теан.
143. О патронате и клиентеле см. прим. 79 к речи 1.
144. Марк Сатрий, усыновленный Луцием Минуцием Басилом. См. Цицерон, «Об обязанностях», III, § 74.
145. См. речь 25, § 5.
146. Ср. речь 25, § 19, 23 сл.
147. О промультяции см. прим. 1 к речи 2. См. речь 25, § 19, 25.

148. Цезарь был при жизни обожествлен. На ложе изображение божества помещали при обряде угощения (см. прим. 22 к речи 11). *Двускатная кровля* — отличительный признак храма; *фламин* — жрец определенного божества. См. Светоний, «Юлий», 76.

149. Акт посвящения; см. прим. 72 к речи 5. Фламина назначал верховный понтифик.

150. *Римские игры* в честь Юпитера, Юноны и Минервы — с 4 по 12 сентября включительно. После перерыва в два дня — Римские игры в цирке. Речь составлена так, словно она произносится 19 сентября.

151. Намек на то, что Антония ждет судьба Клодия и Куриона, вдовой которых была Фульвия («третий взнос»).

152. Намек на убийство Цезаря.

153. Ср. письмо Fam., XII, 1, 2 (DCCXXIV).

154. Ср. речь 12, § 3.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ

[В сенате, 21 апреля 43 г.]

(I, 1) Если бы, отцы-сенаторы, с такой же достоверностью, с какой я из прочитанного донесения узнал, что войско преступнейших врагов истреблено и рассеяно, я узнал и о том, чего все мы особенно сильно желаем и что, по нашему мнению, является следствием одержанной ныне победы, — а именно, что Децим Брут уже вышел из Мутины, — если бы я об этом узнал, то я, не колеблясь, предложил бы снова вернуться к нашей обычной одежде, ибо спасен тот человек, ради которого мы надели военные плащи, когда ему угрожала опасность. Однако, пока нам не сообщено о событии, которого граждане ждут с величайшим нетерпением, достаточно, если мы будем радоваться исходу величайшей и достославной битвы. Возвращение же к нашей обычной одежде отложите до полной победы. А завершение этой войны — в спасении Децима Брута.

(2) Но что означает такое предложение — сегодня сменить одежду, а затем, завтра, явиться опять в военных плащах? Нет, как только мы снова наденем ту одежду, которую мы стремимся носить, по которой мы тоскуем, мы должны постараться сохранить ее навсегда. Ибо это был бы поступок позорный и даже неугодный бессмертным богам: покинуть их алтари, к которым мы подойдем, одетые в тоги, чтобы надеть военные плащи. (3) Однако я замечаю, отцы-сенаторы, что кое-кто стоит за это предложение¹. И вот каковы замыслы и цели этих людей: понимая, что тот день, когда мы в честь спасения Децима Брута снова наденем свою обычную одежду, будет для него днем величайшей славы, они хотят вырвать у него из рук этот заслуженный им почет, дабы потомки наши не могли вспоминать о том, что ввиду опасности, угрожавшей одному-единственному гражданину, римский народ надевал военные плащи, а в честь его спасения снова надел тоги. Кроме этого соображения, вы не найдете никаких оснований для внесения столь несправедливого предложения. Но вы, отцы-сенаторы, сохраните свой авторитет, настаивайте на своем мнении, твердо помните то, что вы утверждали не раз: с жизнью этого одного храбрейшего и величайшего мужа связан исход всей этой войны².

(II, 4) Для освобождения Децима Брута были в качестве послов отправлены наши первые граждане, дабы официально потребовать от врага и братоубийцы³, чтобы он отступил от Мутины. Во имя спасения все того же Децима Брута, для ведения войны выехал, после метания жребия, консул Авл Гирций, над чьим слабым здоровьем одержали верх доблесть его

духа и надежда на победу. Цезарь⁴, самостоятельно набрав войско и избавив государство от бедствий, в ту пору грозивших ему, выступил — чтобы на будущее время предотвратить подобные злодеяния — для освобождения все того же Брута и свою скорбь по поводу собственного несчастья⁵ преодолел во имя любви к отчизне. (5) А к чему другому, как не к освобождению Децима Брута, стремился Гай Панса, производя военный набор, собирая деньги, добиваясь строжайших постановлений сената, направленных против Антония, ободряя нас, призывая римский народ к защите дела свободы? Римский народ, присутствуя в полном составе на сходках, единогласно потребовал от него спасения Децима Брута, ставя это спасение выше, чем, не говорю уже — свои собственные выгоды, но даже свою потребность в насущном хлебе. Это дело, как мы, отцы-сенаторы, должны надеяться, теперь либо совершается, либо уже завершено; но радость по поводу осуществления наших надежд следует все же отложить до исхода событий, дабы не показалось, что мы своей поспешностью предвосхитили милость бессмертных богов или же по своему неразумию презрели силу Судьбы.

(6) Однако, коль скоро ваше поведение показывает достаточно ясно, что вы об этом думаете, я перейду к донесениям, присланным консулами и пропретором; но сначала скажу несколько слов о том, что имеет отношение к самим донесениям.

(III) Обагрены, вернее, напоены кровью мечи наших легионов и войск, отцы-сенаторы, в двух сражениях, данных консулами⁶, и в третьем, данном Цезарем⁷. Если вражеской была эта кровь, то велика была верность солдат их долгу; чудовищно их злодеяние, если это была кровь граждан⁸. Доколе же человек, всех врагов превзошедший своими злодеяниями, не будет носить имени врага? Или вы, быть может, хотите, чтобы дрожало острие мечей в руках наших солдат, не знающих, кого они пронзают: гражданина или врага? (7) Молебствия⁹ вы назначаете, Антония врагом не называете. Подлинно угодными бессмертным богам будут наши благодарственные молебствия, угодными будут жертвы, когда истреблено такое множество граждан! "По случаю победы, — нам говорят, — над подлыми и наглыми людьми". Ведь так их называет прославленный муж¹⁰. Но ведь это просто бранные слова, которые в ходу у тех, кто судится в Риме, а не клеймо, выжженное за участие в междоусобной войне не на жизнь, а на смерть. Можно подумать, они завещания подделывают, или выбрасывают своих соседей из их домов, или обируют юнцов. Ведь именно этими и подобными им делами и занимаются те, кого принято называть дурными и наглыми. (8) Непримируемой войной пошел на четырех консулов¹¹ омерзительнейший из всех разбойников; такую же войну он ведет против сената и римского народа; всем (хотя и сам он падает под тяжестью собственных несчастий) он угрожает уничтожением, разорением, казнью, пытками; дикое и зверское преступление Долабеллы¹², которого не мог бы оправдать ни один варварский народ, Антоний объявляет совершенным по его собственному совету, а то, что он совершил бы в нашем городе, если бы этот вот Юпитер¹³ сам не отбросил его от этого храма и от этих стен, он показал на примере несчастья, постигшего жителей Пармы¹⁴. Этим честнейших мужей и весьма уважаемых людей, глубоко почитающих авторитет нашего сословия и достоинство римского народа, истребил, показав пример величайшей жестокости, Луций Антоний, бесстыдное чудовище, навлекшее на себя сильнейшую ненависть всех людей, а если и боги ненавидят тех, кто этого заслуживает, то и ненависть богов. (9) Духа у меня не хватает, отцы-сенаторы, и мне страшно сказать, что сделал Луций Антоний с детьми и женами жителей Пармы. Ибо те гнусности, какие Антонию, покрывая себя позором, сами позволяли проделывать над собой, они рады были насильно проделывать над другими. Но насилие, какому подверглись те люди, — их несчастье, а разврат, которым запятнана жизнь Антониев, — их позор. Поэтому неужели найдется человек, который не осмелится назвать врагами тех, кто, как он сам должен признать, злодеянием своим превзошел даже карфагенян при всей их жестокости.

(IV) И правда, в каком взятом городе Ганнибал проявил такую бесчеловечность, какую в захваченной хитростью Парме проявил Антоний? И разве его возможно не считать врагом и этой, и других колоний, к которым он относится так же? (10) Но если он, вне всякого сомнения, враг колониям и муниципиям, то какого ждете вы от него отношения к нашему городу, который он страстно желал захватить, чтобы насытить своих нищих разбойников, к нашему городу, который его опытный и искусный землемер Сакса¹⁵ уже разделил своим шнуром? Вспомните, отцы-сенаторы, — во имя бессмертных богов! — в каком страхе были мы в течение двух последних дней, после того как внутренние враги распространили гнуснейшие слухи¹⁶. Кто мог взглянуть без слез на своих детей и жену? А на свой дом, на кров, на домашнего лара¹⁷? Каждый думал либо о позорнейшей смерти, либо о жалком бегстве. И мы поколеблемся назвать врагами тех, кто внушал нам этот страх? Если кто-нибудь предложит более суровое название, я охотно соглашусь с ним; этим обычным названием я едва-едва могу удовлетвориться; более мягким пользоваться не стану.

(11) И так как мы, на основании прочитанных донесений, по всей справедливости должны назначить молебствия и так как Сервилий предложил назначить их, то я лишь увеличу их продолжительность — тем более, что их следует назначить от имени не одного, а троих военачальников. И прежде всего я сделаю следующее: провозглашу императорами¹⁸ тех, кто своей доблестью, продуманным планом действия и удачливостью избавил нас от величайших опасностей — от порабощения и гибели. И в самом деле, от чьего имени за последние двадцать лет было назначено молебствие без того, чтобы этого военачальника не провозгласили императором, хотя бы он совершил совсем незначительные деяния, а в большинстве случаев не совершил никаких? Почему либо тот, кто говорил до меня, не должен был вообще подавать голос за назначение молебствий, либо обычные и общепринятые почести следует оказать тем людям, которые имеют право даже на особые и исключительные.

(V, 12) Если бы кто-нибудь перебил тысячу или две тысячи¹⁹ испанцев, или галлов, или фракийцев, то сенат, по установившемуся обычаю, провозгласил бы его императором. А мы после уничтожения стольких легионов, после истребления такого великого множества врагов (я говорю — врагов? Да, повторяю, врагов, хотя наши внутренние враги и не хотят этого признать) прославленных военачальников назначением молебствий почтим, а в звании императоров им откажем? И право, какой великий почет, какое ликование встретит их, среди каких проявлений благодарности должны войти в этот вот храм сами освободители нашего города, когда вчера меня, в честь их подвигов справлявшего овацию и чуть ли не триумф²⁰, римский народ проводил от моего дома в Капитолий и затем сопровождал до дому? (13) Да, заслуженный и притом настоящий триумф, — по крайней мере, по моему мнению, — бывает только тогда, когда граждане единодушно свидетельствуют о честных заслугах своих сограждан перед государством. Если, среди всеобщей радости, разделяемой римским народом, поздравляли одного человека, то это веское одобрение его заслуг; если одного человека благодарили, то это еще более важно; если же было сделано и то, и другое, то это самое великолепное, что только возможно себе представить.

"Так ты говоришь о себе самом?" — скажет кто-нибудь. Да, неохотно, но горечь обиды делает меня, против моего обыкновения, славолубивым. Не достаточно ли того, что люди, которым доблесть не знакома, отказывают в благодарности заслуженным гражданам, а тех, кто всецело посвящает себя заботам о благе государства, они, завидуя им, стараются обвинить в мятежных действиях? (14) Ведь вы знаете, что за последние дни широко распространились толки, будто я в день Палилий²¹, то есть сегодня, спущусь на форум в сопровождении ликторов²². Мне думается, такое обвинение могло быть состряпано против какого-нибудь гладиатора, или разбойника, или Катилины, а не против человека, который добился того, что именно такое событие в нашем государстве невозможно. Неужели же я, который удалил, низверг, уничтожил Катилину, замышлявшего такие действия, сам неожиданно оказался

Катилиной? При каких авспициях я как авгур мог бы принять эти ликторские связи? Доколе мог бы я их при себе иметь? Кому мог бы я передать их²³? Кто был столь преступен, чтобы это придумать, столь безрассуден, чтобы этому поверить? Откуда же это подозрение, вернее, эти толки?

(VI, 15) Когда, как вы знаете, в течение последних трех, вернее, четырех дней из Мутины стали доходить печальные слухи²⁴, то бесчестные граждане, будучи вне себя от дерзкой радости, начали собираться вместе возле той курии, которая принесла больше несчастья самим этим бешеным людям, чем государству²⁵. Когда они там составляли план нашего истребления и распределяли между собой, кто захватит Капитолий, кто — ростры, кто — городские ворота, они думали, что граждане объединятся вокруг меня. Чтобы возбудить ненависть ко мне и даже создать угрозу для моей жизни, они и распространили эти слухи насчет ликторов и сами намеревались предоставить мне ликторов. После того как это было бы сделано якобы с моего согласия, вот тогда-то наймиты и должны были напасть на меня как на тиранна, вслед за чем вы все должны были быть истреблены. Дальнейшие события сделали это явным, отцы-сенаторы, но в свое время будут раскрыты и корни всего этого преступления. (16) Поэтому народный трибун Публий Апулей, который уже со времени моего консульства знал обо всех моих намерениях и об угрожавших мне опасностях, разделял их со мной и помогал мне, не мог перенести своей обиды, вызванной моей обидой. Он созвал многолюдную сходку, во время которой римский народ проявил полное единодушие. Когда Публий Апулей, связанный со мной теснейшим союзом и дружескими отношениями, в своей речи на этой народной сходке хотел оправдать меня от подозрения насчет ликторов, все участники сходки в один голос заявили, что я никогда не питал ни единого помысла, который бы не служил благу государства. Через два-три часа после этой сходки прибыли долгожданные вестники с донесениями, так что в один и тот же день я был не только избавлен от совершенно незаслуженной вражды, но и возвеличен многократными поздравлениями римского народа.

(17) Я вставил эти замечания, отцы-сенаторы, не столько ради оправдания (ибо плохи были бы мои дела, если бы я и без этой защиты казался вам недостаточно чистым), сколько для того, чтобы напомнить кое-кому из людей, лишенных сердца и неумных, что они должны считать — как считал всегда и я сам — доблесть выдающихся граждан заслуживающей подражания, а не ненависти. Обширно поле государственной деятельности, как мудро говаривал Красс²⁶, и многим людям открыт путь к славе.

(VII) О, если бы были живы те первые в государстве люди, которые после моего консульства, хотя я и сам уступал им дорогу²⁷, очень охотно видели меня в числе первых! Но какую скорбь, как вы можете предполагать, должен я испытывать в настоящее время при таком малом числе стойких и храбрых консуляров, когда одни, как я вижу, питают дурные замыслы, другие вообще не заботятся ни о чем²⁸, третьи недостаточно стойки в выполнении задач, взятых ими на себя, а в своих предложениях не всегда руководствуются пользой государства, а расчетами или страхом! (18) Но если кто-нибудь напрягает свои силы в борьбе из-за первенства, которой вообще быть не должно, то он очень глуп, если думает пороком пересилить доблесть: как в беге побеждают бегом, так среди храбрых мужей доблесть побеждают доблестью. А если я стану направлять все свои помыслы на благо государства, то неужели ты²⁹ ради победы надо мной будешь строить против него козни или же, увидев, что вокруг меня собираются честные люди, станешь к себе привлекать бесчестных? Я бы не хотел этого, во-первых, ради блага государства, во-вторых, из уважения к твоей почетной должности. Но если бы дело шло о первенстве, которого я никогда не добивался, то что же, скажи на милость, было бы для меня более желанным? Ведь уступить победу дурным людям я не могу; честным, пожалуй, мог бы и притом охотно.

(19) Кое-кто недоволен тем, что римский народ это видит, замечает и об этом судит. Да разве могло случиться, чтобы люди не судили о каждом человеке в меру его заслуг? Ведь подобно тому, как обо всем сенате римский народ судит справедливейшим образом, полагая, что не было в государстве положения, когда бы это сословие было более стойким или храбрым, так все расспрашивают и о каждом из нас, а особенно о тех, кто подает голос с этого места, и желают знать, что именно каждый из нас предложил. Таким образом, люди судят о каждом в соответствии с теми заслугами, какие они признают за ним. Они помнят, что за двенадцать дней до январских календ³⁰ я был первым в деле восстановления свободы; что с январских календ³¹ и по сей день я бодрствовал, защищая государство; (20) что мой дом и мои уши были днем и ночью открыты, чтобы я мог выслушивать советы и увещания любого человека; что мои письма³², мои послания, мои наставления призывали всех людей, где бы они ни находились, к защите отечества; что я, начиная с самых январских календ, ни разу не предложил направить послов к Антонию, всегда называл его врагом, а нынешнее положение — войной, так что я, который при всех обстоятельствах был сторонником истинного мира, теперь, когда мир губителен, самому слову "мир" стал ярым недругом. (21) Разве я не смотрел на Публия Вентидия всегда как на врага, хотя другие считали его народным трибуном³³? Если бы консулы захотели произвести дисцессию³⁴ по этим моим предложениям, то ввиду уже одного только авторитета сената у всех этих разбойников оружие давно выпало бы из рук.

(VIII) Но то, чего тогда не удалось сделать, отцы-сенаторы, в настоящее время не только возможно, но и необходимо: тех, которые действительно являются врагами, мы должны заклеить именно этим названием, а голосованием своим признать их врагами. (22) Ранее, когда я произносил слова "враг" и "война", не раз находились люди, которые исключали мое предложение из числа внесенных; но в данном вопросе это уже невозможно; ибо, на основании донесений консулов Гая Пансы и Авла Гирция и пропретора Гая Цезаря, мы подаем голоса за оказание почестей бессмертным богам. Кто только что голосовал за назначение молебствия, тот, не отдавая себе отчета, тем самым признал наших противников врагами; ибо во время гражданской войны никогда не назначали молебствия. Я говорю — "не назначали"? Даже победитель в своих донесениях его не требовал.

(23) Гражданскую войну вел, в бытность свою консулом, Сулла; вступив с легионами в Рим, он, кого хотел, изгнал; кого мог, казнил; о молебствии не было даже упоминания. Грозная война с Октавием возникла впоследствии; молебствия от имени Цинны устроено не было, хотя он и был победителем. За победу Цинны отомстил Сулла как император; сенат молебствия не назначил. А тебе самому, Публий Сервилий, разве прислал твой коллега³⁵ донесение о Фарсальской битве, принесшей столь великие бедствия? Разве он хотел, чтобы ты доложил сенату о назначении молебствия? Конечно, нет. Но, скажут мне, он впоследствии прислал донесение о событиях в Александрии, о Фарнаке; однако по поводу Фарсальской битвы он даже не справил триумфа; ибо таких граждан отняла у нас эта битва, при которых, если бы они, уже не говорю — были живы, но даже оказались победителями, государство могло бы быть невредимо и процветать³⁶. (24) То же самое случилось и во время прежних гражданских войн. Ведь от моего имени как консула, хотя я за оружие и не брался, молебствие было назначено не ввиду истребления врагов, а за спасение граждан; это было дотоле необычным и неслыханным³⁷. Поэтому либо надо нашим императорам, — хотя они прекрасно исполнили свой долг перед государством, — несмотря на их просьбу, отказать в молебствии (а это случилось с одним только Габинием³⁸), либо тех, победа над которыми дала вам повод принять постановление о назначении молебствия, неминуемо признать врагами.

(IX) Итак, то, что Публий Сервилий совершает на деле, я выражаю и словом, провозглашая их императорами. Давая им это имя, я и тех, кто уже разбит наголову, и тех, кто остался в живых, признаю врагами, называя их победителей императорами. (25) В самом деле, как мне лучше назвать Пансу, хотя он и носит наиболее почетное звание? А Гирция? Он, правда,

консул, но одно дело — звание, связанное с милостью римского народа, другое дело — звание, связанное с доблестью, то есть с победой. А Цезарь? Неужели я стану колебаться, провозгласить ли мне его, по милости богов рожденного для государства, императором? Ведь он первый отвел страшную и отвратительную жестокость Антония не только от нашего горла, но и от членов нашего тела и наших сердец. Сколь многочисленные и сколь великие доблести — бессмертные боги! — проявились в один день! (26) Ибо Панса первым выступил за то, чтобы дать битву и сразиться с Антонием, он, император, достойный Марсова легиона, подобно тому как легион достоин своего императора³⁹. Если бы Пансе удалось сдерживать сильнейший пыл этого легиона, дело было бы закончено одним сражением⁴⁰. Но когда легион, жаждавший свободы, стремительно бросился вперед и прорвал вражеский строй, причем сам Панса сражался в первых рядах, Панса, получив две опасные раны, был вынесен с поля битвы, и его жизнь сохранена государству. Я считаю его поистине не только императором, но даже прославленным императором; ведь он, поклявшись исполнить свой долг перед государством и либо умереть, либо одержать победу, совершил второе. Да предотвратят боги первое!

(X, 27) Что сказать о Гирции? Узнав об этом, он вывел из лагеря два необычайно преданных и доблестных легиона: четвертый, который ранее, покинув Антония, присоединился к Марсову, и седьмой, состоявший из ветеранов, который доказал в этом сражении, что этим солдатам, сохранившим пожалования Цезаря⁴¹, имя сената и римского народа дорого. С этими двадцатью когортами без конницы Гирций, сам неся орла четвертого легиона⁴², — более прекрасного образа императора мы никогда не знали — вступил в бой с тремя легионами Антония и конницей и опрокинул, рассеял и истребил преступных врагов, угрожавших этому вот храму Юпитера Всеблагого Величайшего и храмам других бессмертных богов, домам Рима, свободе римского народа, нашей жизни и крови, так что главарь и вожак разбойников, охваченный страхом, под покровом ночи бежал с кучкой сторонников. О, счастливейшее солнце, которое, прежде чем закатиться, увидело распростертые на земле трупы братоубийц и Антония, обратившегося в бегство вместе с немногими своими приверженцами!

(28) Да неужели же кто-нибудь станет сомневаться в том, что следует провозгласить Цезаря императором? Возраст его, конечно, никому не помешает голосовать за это, коль скоро он своей доблестью победил свой возраст. А мне лично заслуги Гая Цезаря всегда казались тем более значительными, чем менее их можно было требовать от его возраста; когда мы предоставляли ему империй⁴³, мы в то же время возлагали на него надежды, связанные с этим званием. Получив империй, он своими подвигами доказал справедливость нашего постановления. И вот этот юноша необычайного мужества, как вполне верно пишет Гирций, с несколькими когортами отстоял лагерь многих легионов и удачно дал сражение. Таким образом, благодаря доблести, разумным решениям и боевому счастью троих императоров, государство в один день было спасено в нескольких местах.

(XI, 29) Итак, предлагаю назначить от имени этих троих императоров пятидесятидневные молебствия⁴⁴. Все основания для этого я, в возможно более лестных выражениях, изложу в самом своем предложении.

Однако, кроме того, верность нашему слову и долгу велит нам доказать храбрейшим солдатам, какие мы памятливые и благодарные люди. Поэтому предлагаю подтвердить нынешним постановлением сената наши обещания, то есть те льготы, которые мы обязались предоставить легионам по окончании войны; ибо по справедливости следует оказать почести и солдатам, тем более таким солдатам. (30) О, если бы нам, отцы-сенаторы, можно было вознаградить всех! Впрочем, мы усердно и с лихвой воздадим им то, что обещали. Но это, надеюсь, получают уже победители, в чем сенат ручается своим честным словом, и им, коль скоро они в тяжелейшее для государства время встали на его сторону, никогда не придется

раскаиваться в своем решении. Но легко вознаградить тех, которые даже своим молчанием, по-видимому, предъявляют нам требования. Более важно, более ценно и наиболее достойно мудрости сената — хранить в благодарной памяти доблесть тех, кто отдал жизнь за отечество. (31) О, если бы мне пришло на ум, как лучше почтить их память! Во всяком случае я не пройду мимо следующих двух решений, которые кажутся мне наиболее неотложными: одно — увековечить славу храбрейших мужей, другое — облегчить печаль и горе их близких.

(XII) Итак, отцы-сенаторы, я нахожу нужным воздвигнуть солдатам Марсова легиона и тем, кто пал вместе с ними⁴⁵, возможно более величественный памятник. Необычайно велики заслуги этого легиона перед государством. Это он первый порвал с разбойниками Антония; это он занял Альбу; это он перешел на сторону Цезаря; ему подражая, четвертый легион достиг благодаря своей доблести такой же славы. В четвертом легионе, победоносном, потерь нет; из Марсова легиона некоторые пали в самый миг победы. О, счастливая смерть, когда дань, положенную природе, мы отдаем за отчизну! (32) Вас же я считаю поистине рожденными для отчизны, потому что даже имя ваше происходит от Марса, так что один и тот же бог, видимо, создал этот город для народов, а вас — для этого города. Во время бегства смерть позорна, в час победы славна; ибо сам Марс обычно берет себе в заложники всех храбрейших бойцов из рядов войска⁴⁶. А вот те нечестивцы, которых вы истребили, даже в подземном царстве будут нести кару за братоубийство, а вы, испустившие дух в час победы, достойны жилищ и пределов, где пребывают благочестивые. Коротка жизнь, данная нам природой, но память о благородно отданной жизни вечна⁴⁷. Не будь эта память более долгой, чем эта жизнь, кто был бы столь безумен, чтобы ценой величайших трудов и опасностей добиваться высшей хвалы и славы? (33) Итак, прекрасна была ваша участь, солдаты, при жизни вы были храбрейшими, а теперь память о вас священна, так как ваша доблесть не может быть погребена; ни те, кто живет ныне, не предадут ее забвению, ни потомки о ней не умолчат, коль скоро сенат и римский народ, можно сказать, своими руками воздвигнут вам бессмертный памятник. Не раз во время пунийских, галльских, италийских войн у нас были многочисленные, славные и великие войска, но ни одному из них не было оказано такого почета. О, если бы мы могли больше сделать для вас! Ведь ваши заслуги перед нами еще во много раз больше. Это вы не допустили к Риму бешеного Антония; это вы отбросили его, когда он задумал возвратиться. Поэтому вам будет воздвигнут великолепный памятник и вырезана надпись, вечная свидетельница вашей доблести, внушенной вам богами, и тот, кто увидит поставленный вам памятник или услышит о нем, никогда не перестанет говорить о вас с чувством глубокой благодарности. Так вы, взамен смертной жизни, стяжали бессмертие.

(XIII, 34) Но так как честнейшим и храбрейшим гражданам, отцы-сенаторы, мы воздаем славу, сооружая почетный памятник, то утешим их близких! А для них вот что будет наилучшим утешением: для родителей, что они произвели на свет таких стойких защитников государства; для детей, что у них будут близкие им примеры доблести; для жен, что они лишились таких мужей, которых подобает скорее прославлять, чем оплакивать; для братьев, что они будут уверены в своем сходстве с ними как по внешности, так и в доблести. О, если бы наши решения и постановления помогли им всем осушить свои слезы! Вернее, если бы мы могли во всеуслышание обратиться к ним с речью, после которой они перестали бы горевать и плакать и даже обрадовались бы тому, что, хотя человеку грозят многочисленные и различные виды смерти, на долю их близких выпала смерть самая прекрасная: они не лежат непогребенные и брошенные⁴⁸ (впрочем, даже такая смерть за отечество не должна считаться жалким уделом) и не сожжены порознь на кострах с совершением убогого обряда, но покоятся под надгробием, созданным на средства государства как почетный дар, и над ними воздвигнут памятник, который должен стать на вечные времена алтарем Доблести. (35) По этой причине величайшим утешением для их родных будет то, что один и тот же памятник свидетельствует о доблести их близких, о благодарности римского народа, о верности сената своим обещаниям и хранит воспоминания о жесточайшей войне. Ведь если бы в этой войне солдаты не проявили

такой большой доблести, то от братоубийства, учиненного Марком Антонием, погибло бы имя римского народа.

Я также полагаю, отцы-сенаторы, что те награды, какие мы обещали солдатам по восстановлении государственного строя, следует своевременно и щедро выплатить оставшимся в живых и одержавшим победу; если же некоторые из тех, кому награды обещаны, пали за отечество, то я предлагаю вручить их родителям, детям, женам и братьям те же самые награды.

(XIV, 36) Итак, чтобы наконец объединить все сказанное мной, вношу следующее предложение:

"Так как Гай Панса, консул, император, начал военные действия против врагов, в каком сражении Марсов легион с удивительной, необычайной⁴⁹ доблестью защитил свободу римского народа, что совершили также и легионы новобранцев⁴⁹, а сам Гай Панса, консул, император, сражаясь в гуще врагов, получил ранения; и так как Авл Гирций, консул, император, узнав о происшедшем сражении и выяснив обстоятельства дела, с выдающейся, величайшей храбростью вывел войска из лагеря и, напав на Марка Антония и на вражеское войско, полностью уничтожил его, а войско Гирция осталось невредимым и не потеряло ни одного человека; (37) и так как Гай Цезарь, пропретор, император, действуя обдуманно и осмотрительно, успешно защитил свой лагерь, разбил и истребил вражеские силы, подступившие к его лагерю, — ввиду всего этого сенат полагает и признает, что, благодаря доблести этих троих императоров, их империю, их благоразумным решениям, стойкости, непоколебимости, величию духа и военному счастью, римский народ избавлен от позорнейшего и жесточайшего рабства. И так как они, сражаясь с опасностью для жизни, спасли государство, город Рим, храмы бессмертных богов, недвижимое и движимое имущество всех граждан, а также и их детей, то в награду за эти деяния, честно, храбро и удачно совершенные, Гай Панса и Авл Гирций, консулы, императоры, один из них или оба вместе, или же, в случае их отсутствия, Марк Корнут, городской претор, должны устроить пятидесятидневные молебствия перед всеми ложами богов.

(38) И так как доблесть легионов оказалась достойной их прославленных императоров, то сенат, по восстановлении государственного строя, с величайшим усердием полностью выполнит те обещания, какие он ранее дал нашим легионам и войскам; и так как Марсов легион первый сразился с врагами и бился с их превосходящими силами, причинив им значительный урон и понеся некоторые потери; и так как солдаты Марсова легиона без всяких колебаний отдали жизнь за отечество; и так как солдаты других легионов столь же доблестно пошли на смерть за благополучие и свободу римского народа, то сенату угодно постановить, чтобы Гай Панса и Авл Гирций, консулы, императоры, — один из них или оба вместе, если признают нужным, — распорядились о сдаче подряда на сооружение величественного памятника тем, кто пролил свою кровь, защищая жизнь, свободу, достояние римского народа, город Рим и храмы бессмертных богов; и чтобы они приказали городским квесторам дать, назначить и выплатить необходимые для этого деньги, дабы в памяти потомков было увековечено жесточайшее злодеяние врагов и внушенная богами доблесть солдат; чтобы те награды, которые сенат ранее установил для солдат, были выданы родителям, детям, женам и братьям тех, кто в этой войне пал за отечество; чтобы им было отдано то, что следовало бы выдать самим солдатам, если бы, одержав победу, остались в живых те, кто, приняв смерть, одержал победу".

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ

1. Намек на Квинта Фуфия Калена и его сторонников.
2. Сенат относился к Дециму Бруту недоброжелательно: Брута обвиняли в медлительности, а он писал, что разорился, неся расходы на войну. Ср. письма Att., XV, 11, 2 (DCCXLVI); Fam., XI, 10, 5 (DCCCLIV); 11, 2 (DCCCLV); 14, 2 (DCCCLXXXV); XII, 5, 2 (DCCCXXI).
3. Марк Антоний. См. прим. 34 к речи 1.
4. Октавиан.
5. Убийство диктатора Гая Юлия Цезаря.
6. Два сражения под Галльским Форумом 15 апреля 43 г.: одно до полудня, другое после полудня.
7. Имеется в виду нападение Луция Антония на лагерь Октавиана.
8. Т.е. солдат Антония, коль скоро он не заклеен как враг государства.
9. О молебствиях см. прим. 22 к речи 11.
10. Публий Сервий Исаврйский.
11. Консулы 43 г. Авл Гирций и Гай Вибий Панса; консулы, избранные на 42 г., — Луций Мунаций Планк и Децим Юний Брут Альбин.
12. Убийство Гая Требония, совершенное Долабеллой в Смирне.
13. Видимо, сенат собрался в храме Юпитера Капитолийского.
14. Ввиду важного стратегического значения римской колонии Пармы, Антоний отправил туда брата Луция. См. письмо Fam., XI, 13b (DCCCXLIX).
15. *Децидий Сакса* входил в комиссию по землеустройству. См. прим. 129 к речи 26.
16. Слухи о победе Марка Антония.
17. См. прим. 139 к речи 17.
18. Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
19. Такое число убитых врагов требовалось обычаем. В 62 г. трибун Марк Катон провел закон, увеличивший эту цифру до 5 тысяч.
20. О триумфе см. прим. 45 к речи 4. *Овация* — малый триумф. Здесь это метафоры. 20 апреля состоялась народная сходка.
21. *Палилии* (или *Парилии*) — празднества в честь божества *Pales*, покровительницы пастухов и скота (21 апреля); совпадали с годовщиной основания Рима.
22. Присутствие ликторов со связками — атрибут диктаторской власти.
23. Диктатура допускалась на срок не более шести месяцев, после чего диктатор передавал свои полномочия консулам, но их в Риме не было.
24. Слухи о поражении войск сената, дошедшие в Рим 17 или 18 апреля, видимо, относились к сражению, предшествовавшему сражению под Галльским Форумом.
25. Имеется в виду Помпеева курия, где был убит Цезарь.
26. *Луций Лициний Красс* (141-90) — оратор, один из учителей Цицерона.
27. Намек на Помпея. Ср. письмо Fam., V, 7, 3 (XV).
28. Ср. письма Att., I, 19, 6 (XXV); 20, 3 (XXVI); II, 9, 1 (XXXVI).
29. Обращение к воображаемому противнику. Ср. речь 25, § 20, 26.
30. 20 декабря 44 г., когда были произнесены III и IV филиппики.
31. 1 января 43 г. Цицерон произнес V филиппику с предложением объявить Марка Антония врагом государства (*hostis publicus*).
32. Цицерон в это время переписывался с Титом Мунацием Планком, Гаем Асинием Поллионом, Квинтом Корнифицием, Октавианом, Авлом Гирцием, Гаем Вибием Пансой, Гаем Кассием, Марком Брутом. Многие сборники писем утрачены.
33. *Публий Вентидий Басс*, в детстве попавший в рабство, в начале карьеры снабжал мулами и повозками магистратов, выезжавших в провинции; позднее снабжал войска Цезаря в Галлии. Благодаря Цезарю стал народным трибуном в 46 г. и был избран в преторы на 43 г. Присоединился к Антонию и после его поражения под Мутиной привел к нему два набранных им легиона; в 43 г. был консулом-суффектом (заместителем).

34. Порядок голосования в сенате: сенаторы переходили к месту того сенатора, чье предложение они поддерживали.
35. Гай Юлий Цезарь, в 48 г. консул вместе с Публием Сервилием.
36. Намек на Помпея и его сторонников.
37. См. речь 11, § 23.
38. *Авл Габиний*, проконсул Сирии в 57 г. Ср. речь 21, § 14 сл.
39. См. письмо *Fam.*, X, 30, 2 (DCCCXLII). Донесение Гальбы.
40. "*Пыл*" солдат поставил войска сената в опасное положение. Панса был ранен и вынесен с поля битвы. Победа была одержана свежими войсками Гирция. Цицерон, еще не получивший донесения Гальбы, приукрашает события. Панса вскоре умер от ран.
41. Имеются в виду земельные наделы.
42. Это означает, что Гирций был в первых рядах первой когорты IV легиона. Серебряное изображение орла — знамя легиона.
43. Октавиану было 19 лет. 1 января 43 г. сенат предоставил ему права пропретора с империем, хотя по закону он еще не имел права даже на квестуру. См. прим. 63 к речи 5.
44. *Пятидесятидневные молебствия* еще никогда не назначались. См. прим. 22 к речи 11; прим. 48 к речи 21.
45. Солдаты преторской когорты Октавиана, павшие на Эмилиевой дороге.
46. По-видимому, реминисценция из Софокла, "*Филоклет*", 437; ср. Эсхил, фрагм. 52; Эврипид, фрагм. 649, 721.
47. Ср. речи 15, § 28; 17 § 143; 22, § 97; Саллюстий, "*Катилина*", 3; Вергилий, "*Энеида*", X, 467 сл.
48. Ср. речь 4, § 119 сл.
49. Два из четырех легионов, участвовавших в сражении, состояли из новобранцев.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПЕРВАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ (стр. 1)
ВТОРАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ (стр. 11)
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ФИЛИППИКА ПРОТИВ МАРКА АНТОНИЯ (стр. 40)